

МИХАИЛ ТАНИЧ

Сергей
Моян



*Прожил свой
век, не нарушая
правил, и пролетел
над миром, легко-
крыл...
Песни я только
написал, а зна-
менитыми их
сделали вы – народ*

«Мы выбираем, нас
выбирают» стала
знаком фильма
«Большая перемена»

Однажды я придумал
фишку «Лесоповал»

После «Погоды
в доме» мы с Ларисой
Долиной очень
подружились



Нетелефонный разговор

Зеркало памяти

Михаил Танич

Нетелефонный разговор

«Издательство АСТ»

2020

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Танич М. И.

Нетелефонный разговор / М. И. Танич — «Издательство АСТ»,
2020 — (Зеркало памяти)

ISBN 978-5-17-116717-2

Михаил Танич – прожил непростую жизнь. Воевал, дошел до Берлина, вернулся с победой, поступил в институт – и по доносу получил 6 лет лагерей. Вот тут ему повезло – не погиб, выдержал, возвратился (правда, с клеймом «пораженного в правах»). Работал и прорабом на стройке, и литсотрудником в районной газете... И все это время, начиная с детства, писал стихи. А потом его стихи стали песнями, которым дали жизнь Иосиф Кобзон, Алла Пугачева, Лариса Долина, группа «Лесоповал» и многие другие.

УДК 821.161.1-94
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-116717-2

© Танич М. И., 2020
© Издательство АСТ, 2020

Содержание

Играла музыка в саду...	6
Состоявшийся вариант	7
Человек за бортом	9
Завещание	10
Калейдоскоп	12
К слову, о Ельцине	14
Таганрог	16
Про это	19
Михаил Танич	21
Школа первой ступени	24
«Пятьсот веселый» до Ростова	30
Провинция, прощай!	32
Враг народа	34
Скрипач	37
Лучше татарина!	38
Светлый Яр	40
Переход через Альпы	42
Константин Ротов	44
Женщины	46
Отступление о танках	50
Гнездо	52
Нольная линия	54
Пузо	56
Вальс Хачатуряна	60
Крещение войной	62
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Михаил Танич

Нетелефонный разговор

© М.И. Танич (наследники), 2020

© ООО «Издательство АСТ», 2020

* * *

Жизнь – отвратительная штука, но ничего лучше не придумали
Михаил Танич

Играла музыка в саду...

Мы так недавно и давно
Дружили с девочкой из хора
И летним вечером кино
Смотрели в щелочку забора.

Играла музыка в саду,
Вот только память позабыла,
В каком году, в каком году
Все это с нами было?

Бегут-бегут за нами вслед
Любви неясные тревоги!
Длинней, чем жизнь, дороги нет,
Но и короче нет дороги.

И как от камешка в пруду,
Года расходятся кругами!
В каком году, в каком году
Все это было с нами?

(Из моей песни)

Состоявшийся вариант

Есть среди снимков в этой книге один неприметный, любительский: в перешитой шинели и блатной ростовской кепочке стою на палубе пароходика, плывущего по Тихому Дону. Найдите его сразу, не мешкая, и потом продолжайте чтение. 1947 год. Конец апреля, шолоховские места. Мне двадцать три года, я полон надежд и планов, просто здоровья, впереди – вся жизнь с ее тысячей вариантов. Я только что простился со случайной любовью, молоденькой казачкой, которая почему-то, наверное, нарочно для меня, жила одна в огромном доме у самого дебаркадера «Багаевская», и пароходик, как всегда на реке, плевал на расписание и запаздывал часа на четыре, и дошлепал до нас уже под утро.

Итак, стою на палубе после бессонной ночи, полной объяснений в вечной любви, слез и поцелуев. Любовь была неловкой, застенчивой («мы же почти незнакомы!»), как следствие разговоров – ну, до чего могут договориться двое двадцатилетних – мальчик и девочка – на рассвете теплого апреля месяца, когда познакомивший их друг сладко сопит в соседней комнате пустого казачьего дома? И пароходик хоть и опаздывает, но вот-вот загудит у причала и скорее всего разлучит их навсегда?

Впереди – предмайские хлопоты, плыву в столицу моей юности, город Ростов-на-Дону. И предстоит: а) целая счастливая жизнь, б) получить и истратить денежки за написанные мелом на клею по красной бязи два десятка первомайских лозунгов – традиционный заработок студента архитектурного факультета и в) вообще предпраздничная суeta в связи с 1 Мая. Был такой красный день календаря – «Боевой смотр международной солидарности трудящихся». Сейчас рука с трудом выводит эти черт-те кем придуманные торжественные слова, а тогда 1 Мая гремели по всей стране духовые оркестры, на трибунах, наскоро сколоченных, стояло мордатое начальство с красными бантами, а мы топтались, построившись в колонны, с искусственными цветами, под песни Леонида Утесова и Изабеллы Юрьевой. Фантаσμαгория! И где-то рядом с этими построенными колоннами прохаживался и посмеивался Мессир Воланд, наш будущий знакомец – он еще лежал в столе у Елены Сергеевны Булгаковой.

Мы были с Никитой Буцевым в гостях у его родителей. Просто так, на несколько дней вырвавшись из голодной студенческой жизни живущего по карточкам города, – в рай хлебосольного дома: отец Никиты много лет заведовал продуктовым магазином «Рыбкоопа» в станции Багаевской. Можно представить, как принимали в казачьем дому единственного сына!

Вы знаете, что такое каймак? Это собранные вершки с топленого молока, розовые, с коричневой корочкой. Это – среди всех молочных деликатесов – как небоскребы рядом с хрущевскими пятиэтажками. Так вот каймак в глечиках вносили и вносили из погреба к завтраку. А к обеду был казачий борщ с курицей (лучшая уха – из петуха!) и жареный сазан, да еще с жареной же сазаньей икрой – тоже небоскреб среди рыбных шлягеров!

А днем на мотоцикле мы ездили ловить, а потом варили раков – огромных зеленых речных ихтиозавров нашего времени. А вечером женихались, неуклюже ухаживая за местными девицами, под семечки, столичные кавалеры из города Ростова-на-Дону. Одно из знакомств вам уже известно, как закончилось. Короче говоря, для описания этого холидея нужно перо нашего Николая Васильевича Гоголя или, в крайнем случае, ихнего Марка Твена.

Значит, стою на палубе парохода, с еще не остывшими поцелуями на губах, отвечаю гудками на гудки встречных суденышек, полон раздумий о ближайшем и дальнем будущем, обещававшим этому молодому человеку с боевыми орденами и медалями миллион вариантов. Один другого заманчивей.

Во-первых, закончить институт, послать к черту и забыть весь этот сопромат и начертательную геометрию с ее эпюрами, получить диплом с отличием, с перспективой стать главным архитектором Москвы. Ну кто же в двадцать три года согласится на меньшее?

Во-вторых, совсем непонятно, что стихам, которые пишутся с детства, грош цена в базарный день, но видится свой двухтомник, почему-то в синем переплете, на полках городской библиотеки, где-то рядом с Твардовским – на «Т». Вот вам и еще один вариант: Михаил Лермонтов!

А мечта надеть майку футбольного ЦДКА, да не какую-то, а именно с номером «9», чтобы рядом с Федотовым мелькать на поляне и в отчетах о матчах в газете «Советский спорт»! Короче говоря, мечты не имеют границ ни в пространстве, ни во времени, ни в подвинутом разуме.

Помните? Были последние числа апреля 1947-го года. А на 30 апреля судьба заказала мне совсем другой, к сожалению, сбывшийся вариант. Уже было закончено оперативное следствие по политическому делу трех студентов, которое Ростовская госбезопасность холила и пестовала почти что целый год. Фотографировали этих шпионов своими длиннофокусными аппаратами с другой стороны улицы, а как же? Надо же было выявить все их тайные связи!

Некоторые из моих студенческой поры снимков я потом, читая наше пухлое дело, видел в длинном конверте, прилепленном к папке, как вещественные доказательства нашей антисоветской деятельности. Только сделаны они были из-за спины нашего фотографа их умельцем и были размером два на восемнадцать, представляете? И наш фотограф тоже был зафиксирован и мог впоследствии разделить наш срок на лесоповале. Слава Богу, его пощадили.

А связи здесь были простые – бутылка водки, разлитая в пивные кружки в знаменитой пивной на Богатыновском. Но уже было заготовлено место на полу в тюрьме на том же Богатыновском. И уже подшиты все доносы, вызваны все свидетели, которые «на забоюсь» подписали им что угодно.

И уже был переломлен мой позвоночник на шесть лет, а потом и навсегда, только я не знал об этом, стоя на палубе пароходика, плывущего из станицы Багаевской в город Ростов-на-Дону. Навстречу тому единственному состоявшемуся варианту моей жизни, о котором я и попытаюсь рассказать вам в этой книге.

Конец подписи к фотографии.

Был хлеб богатыновский горек,
Совсем уж не хлеб, а припек,
Но пайку в прогулочный дворик
Таскал я с собою, как срок.
И мы по квадрату ходили,
А там, за колючей стеной,
Сигналили автомобили
У той знаменитой пивной.
И память моя отобрала
Знакомое до мелочей –
Прогулочный дворик централа
И звон вертухайских ключей.
Зароется в папки историк
И скажет про те времена:
Прогулочный дворик,
Прогулочный дворик –
Такая большая страна.

Человек за бортом

Зачем пишу-то? А кто бы знал! Смутили, соблазнили небольшими деньгами – в большие бы не поверил, это всегда обман, у меня их и не было никогда, озадачили.

– Ты повспоминай, жизнь твоя – это ж радуга! Ну попробуй – строчечка за точечкой...

Да уж, радуга: все семь цветов – черные!

И вот я согласился, заточил угольки, загрунтовал пространство, кисти помыл. А чего писать, не придумал.

Свой портрет на фоне времени? Кому я нужен? А если о своем времени? О моем ведь только я и могу!

Так появились первые мои иероглифы прозой, раньше всё в столбец, с малолетства.

Это как вообще-то делается? Выдумывается герой, и ведет его, придуманного, автор по знакомым своим улицам и городам. Или же сам путешествует по выдуманным странам и временам.

Откапали, отморосили
Годов обложные дожди,
Теперь я и вспомнить не в силе,
Что пели мы, что мы носили,
Чем жили мы там позади.
Какие случались ошибки,
Пока этот дождь моросил,
И у золотой моей рыбки
Каких я подарков просил?
Давно уже леший не бродит,
Русалки у берега нет,
И опыт к нам долго приходит,
Со скоростью прожитых лет.

Так, слово за слово, и покатился Миша по нестойкому таганрогскому снегу на лыжах, кое-как зацепившись палкой за борт проезжей полуторки, одного опасаясь – как бы не остановился и не надавал по шее дядька-шофер. А за что, собственно? Снег был теплый, но была, была зима в Таганроге!

Завещание

«Пришла пора и нам иметь воспоминания о том, с кем был и с кем расстался впопыхах, слетел с небес неясный ангел покаяния на не умеющего каяться в грехах». Это из моей малоизвестной песни.

Но с чего-то же они начинаются, воспоминания! А вот с чего.

Балансирую на канате,
Надо мной – дырявенький зонт,
Я, как солнышко на закате,
Скоро скроюсь за горизонт.
Мне всё чаще бывает плохо,
В сердце – острый блеск ножевой!
Но тебе обещаю,
Что буду живой
До последнего вздоха.

Вот такое оптимистическое размышление! А после – надо вызывать духовника и нотариуса. И – «находясь в здравой памяти, в присутствии нижепоименованных»...

Клиническая смерть! Вся-то жизнь вспыхивает одномоментно на экране черно-белого немого кино, куда мы просочились без билета.

Кино, в котором я – и герой-любовник, и злодей, и все двулико, как полицейские и воры.

Кино, а также книги и картины, и всё в искусстве и около бывает всего двух видов: художественно и нехудожественно. Город Таганрог, малая моя родина, город художественный. Заложенный Петром Первым во время Азовского похода строго по плану, наподобие маленького Санкт-Петербурга, а не как сивка-бурка вывезет – он еще помнил, перед тем как мне появиться на свет, шагавших по тротуарам белогвардейцев. По Елизаветинской, по Екатерининской. Простые, как династия, названия! Николаевская совсем не то, что улица Фрунзе. А потом красноармейцев, эти, мне кажется, шагали строем по мостовой. И пахло махоркой.

Улицы одним, а переулки обоими своими концами спускались к морю, полному рыбы, парусов и больших пароходов. Впрочем, как говорится, и деревья были большими.

А по замерзшему зимой заливу бегали мальчишки на самодельных коньках, привязанных чем попадая к буркам и валенкам. И ветер гнал буера – парусники на салазках, я таких после нигде не видывал – сгнули в моем разноцветном, в духе Кустодиева и Юона, детстве!

Я, как солнышко на закате,
Скоро скроюсь за горизонт.

Скорей-скорей, перо! Клиническая смерть – это еще не конец, и есть надежда разглядеть с высоты лет поля Аустерлицких баталий!

Паруса. Сирень. Акации.
Сине море – под горой!
В городской мультипликации
Я – рисованный герой.
Я сажусь верхом на белого
Карусельного коня,
А уж в Руре мина сделана

Персонально для меня.

Калейдоскоп

Как в детской этой игрушке, жизнь рассыпается на разноцветные осколки, а потом волшебным образом собирается в некие причудливые узоры, имеющие не более чем геометрический смысл.

Узор первый – город Таганрог, конец двадцатых годов, первая пятилетка!

Уже на школьных тетрадках – перлы социалистической поэзии: «Пять в четыре, а не в пять!» – первые призывы к будущей тотальной туфте.

Это я потом пойму, про туфту, а пока я – маленький, а город Таганрог полон дореволюционных призраков: всего-то десяток лет тому назад на углу Петровской, а теперь, конечно, Ленинской, и бывшего Итальянского переулка стоял городской.

Да что там городской – дух живого Антона Павловича Чехова бродит по тем же камням, от библиотеки до Драматического театра! И в цирке, старом цирке, выступают настоящие клоуны Бим-Бом.

И непонятный кефир грека Варваца (фамилия изменена не в интересах следствия, а по причине отсутствия памяти) напоминает скорее шампанское, чем нынешнее слабительное с тем же названием!

И такого удивительного вкуса, пропавшего навсегда, греческая халва и вафли микадо у маркитанток на каждом углу!..

А бронзовый император Петр, основатель нашего города, работы скульптора Антокольского, стыдливо упрятан с глаз долой на лестничный пролет городского музея. (А куда еще? Император же!)

Но в садах благоухает царская персидская сирень, и мальчишки, как и во все времена, предпочитают своим соседские яблоки.

Господи, дай памяти прозвенеть железным колесом с проволокой вниз по Исполкомскому до самой Греческой приморской улицы, где в родильном доме я так недавно появился на свет!

Поиграть в футбол с мальчишками на плацу моей школы номер десять, бывшей не так давно женской гимназией, протыриться через забор на стадион, когда по весне наши будут громить тех московских и питерских зазнаек, остановившихся потренироваться (а вовсе не выигрывать) в столице мирового футбола, городе Таганроге.

Дай Бог памяти, и тогда появятся эти таганрогские стихи!

С пяточка
Над Каменной лестницей
Напросвет – морская глубина!
Утром,
При большом воображении,
Греция – прищуришься –
Видна!
Я встаю на цыпочки,
Я – маленький,
Только разрешите мне –
Я сам
Прикоснусь ладошками
К истории,
К тем монгольским
Солнечным часам.
Выщербило временем

И ливнями
Золотоордынскую плиту!
Юный век Осоавиахима,
Жди меня,
Я скоро подрасту!
Тает стрекотание биплана
В черноте Петрушиной косы,
И шпионят
В пользу Тамерлана
Солнечные ханские часы!

Стихи будут сопровождать мои воспоминания, иначе, без них, мне, как зайке, будет трудно что-то сказать.

Скоро-скоро исчезнут из города люди, что донашивали свои чиновничьи френчи и шинели, пахнувшие нафталином, все эти старорежимные и смешные для нас, пионеров, тетки в вуалях. А также греки, итальянцы, торговцы кефиром и халвой. И побегут по ночным, затаившимся в страхе улицам сталинские воронки с опричниками.

Стоп, стоп, стоп, полуторка! Человек за бортом! Человек! Он так и проживет всю жизнь, не приписанным к партиям, комсомолам, к элите и множеству, ко всем этим пятилеткам, индустриализациям, вне пафоса нашего сумасшедшего дома. За бортом!

Единогласно принятый в Союз писателей СССР в ту пору, когда было пять инстанций голосующих, верблюдов, продетый в игольное ушко, я никогда не стал для них своим, не попадал ни в какие списки писательской системы – даже на майонез и пачку гречки в магазине «Диета», и так и не усвоил их терминологии, языка, а вернее, фени их взаимопонимания. А ведь это главное – усвоить терминологию.

Меня не избирали даже в счетную комиссию, не то чтобы в какие-нибудь заседатели. И в число приглашенных на кремлевскую икру ни по списку восьмисот, ни по полуторатысячному списку не попадал.

И даже когда к моему чудовищному 75-летнему юбилею каким-то образом отслюнили мне малоценный орден Почета, то вручали его вдали от Кремля, и временный министр культуры, а не сам президент.

К слову, о Ельцине

Так бывает не только в книжках – именно на этом месте позвали к телевизору, жена закричала: Ельцин уходит! И я с сочувствием слушал его последнее слово, собственноручно, подумалось мне, написанные три странички покаянного текста. Оказалось, и здесь я частично ошибся. (Хотя «сколь же, сколь же» – так спичрайтеры едва ли напишут!)

Еще потому так думаю, что в нашу личную встречу у меня на юрмальской дачке, перед тем как ему стать Президентом, он рассказывал нам, как шел на трибуну той памятной партийной сходки. Шел, начиненный, как фокусник, рассованными по карманам двенадцатью вариантами своей действительно исторической речи. Шел, сознавая державность каждого шага, перебирая в уме все двенадцать текстов и раздумывая, какой следует зачитать. И не надо делать из него болванчика типа позднего Брежнева!

Тем запахло было бы сказать народу: «простите!» Народ у них для того и существовал, чтобы быть ему, народу, во всем виноватым.

Слушал я уходящего с поста Президента моей страны, в которой я всегда был сыном врага народа, слушал, и слеза в его голосе, человеческая слеза, готова была скатиться из моих глаз.

Вот он уходит навсегда, этот великий, заткнитесь, великий деятель России, история еще отдаст кесарю кесарево – уходит достойно, попросив прощения «за все, в чем был и не был виноват» перед страной, перед соратниками, передо мной – тоже.

Мы сидели у нас на веранде, четверо: Наина («Она у меня – из “Руслана и Людмилы”» – сказал Ельцин), живая, домашняя, разговорчивая, маленькая рядом с огромным мужем («Как я не хотела уезжать из Свердловска, знала, что здесь сожрут!»), непьющая; Лида, жена моя, непьющая; Борис Николаевич, благостный и как-то уж слишком откровенный, и я.

Неподготовленное застолье: два пузырька «Столичной», селедочка, какое-то жесткое мясо. Я, разумеется, глядел на него как на героя всей моей жизни – он сказал им то, что я побоялся сказать! Один – против танков и тюрем, с двенадцатью вариантами текстов в карманах! Борис Николаевич, Боря, хотелось сказать после третьей, но нет, не сказал. Заговорили о Горбачеве.

– А что он при себе этого Лигачева так близко держит, сам-то человек вроде как бы хороший?

– Не знаю. На крючке он у него, что ли? – Пожал плечами и насчет «хорошего человека» промолчал.

– Борис Николаевич, а есть ли там у вас кто-то действительно хороший?

– Не знаю. – Сказал и помолчал. – Мы ведь не дружим. Так принято. Может быть, Александр Николаевич Яковлев? Он мне по праздникам открыточки присылает. По почте.

Потом я ему книжечку стихов подписал: «Борису Ельцину, коммунисту настоящему». Надо же так оскорбить Давида, только-только вышедшего против Голиафа! Впрочем, это была глупость, а разве я вам еще не сказал, что к большим умникам себя не причислял и не причисляю?

А потом, за полночь, я отвозил его в санаторий, и он целовал меня хмельными мягкими своими губами. И забыл у меня на даче простые трехрублевые советские очки.

Плохая примета! С тех пор только один раз позвонил я по данному самим телефону – когда он в Верховном Совете закачался. Как провидец, сказал Наине Иосифовне:

– Все будет хорошо. Вот увидите, найдется совестливый, откажется от мандата. В нашу пользу. – Не такой уж я оракул, хотел просто поддержать, и как в воду глядел!

Потом, вознесенный народной поддержкой и надеждой, стал Борис Николаевич нашим Президентом, и я послал ему из Юрмалы телеграмму в своем глупом, несдержанном стиле: «Поздравляю точка ликуу точка возьмите охрану стреляю хорошо точка».

Обиделся. А я бы ответил этому незваному другу в его же духе: «Сначала возвратите очки восклицательный знак». Впрочем, прав Ельцин, а с моей стороны это было обычным проявлением дурного тона.

А потом было все, что было. И лично у меня нет к нему неумеренных претензий ни за приватизацию, ни за плохое житье народа (поди как хорошо жили на этой пайке!), ни за Чечню. Не жили как люди, и начинать нечего.

Импичмента он был достоин лишь за одно: сдавал друзей, одного за другим, с постоянством маньяка. «Вам нужны потрясения, а мне нужна великая Россия!» – помнил.

Я не был президентом, но нет, Борис Николаевич, друзей сдавать нельзя. Ни при каких обстоятельствах. А за другое пусть вас другие судят.

Но! Никого не убил. Никого не арестовал. Не преследовал за критику его, Ельцина, а ведь рука неслабая! Не закрыл ни одной газеты. Не навесил на себя ни одной награды. И в Союз писателей не вступал, и речи свои не цитировал устами холуев, и чемоданчик с кнопкой передал первому же, в которого поверил!

Прощайте, Борис Николаевич, да простит вам Бог все ваши прегрешения. Они и так померкнут перед лицом вашего подвига во имя России.

Таганрог

В белом цирке
Бывшем Труцци,
В Таганроге,
Львы летали
Над ареной деревянной,
И летали над ареной
Полубоги –
Шесть Донато –
Над землей
Обетованной.
А под осень,
В довершение сезона,
От болельщиков
Разламывалась касса,
И арбитры объявляли
Чемпиона,
Мирового чемпиона
Тур де браса.
Был он в маске,
Положивший на лопатки
Усачей из атлетического
Клуба!
Он отряхивал ладони
После схватки,
В прорезь маски улыбаясь
Белозубо.
И пропали все актеры
И актерки,
Гладиаторы усы попустили!
И сижу я до сих пор
На той галерке,
До сих пор мои ладошки
Не остыли.

Таганрог, Таганрог, вечный город вечного детства! По твоим улицам вот уже шестьдесят лет я не ходил, не судьба. Но ты всегда жил и живешь во мне цветением своих сиреней и абрикосов (жердели – называлось это на местном жаргоне), ночными голосами пароходов у причальной стенки, выщербленными ступенями Каменной лестницы. Это – с той стороны моря, а с нашей – высоким обрывом с домиком Дурова и пляжем. И живописной стайкой американских людей, мужчин и женщин, в разноцветных шерстяных трусах и купальниках, на пляже. Бутылки и баночки с кремами и жидкостями для загара и от загара.

Пляж! Прервусь, чтобы вспомнить, сколько чудес произошло на твоём золотом песке. Это ныряние с мостика в неглубокую воду Азовского моря. Это первая девочка, увиденная как девочка, в мокром облегающем купальнике, – заметил, где другая! И еще, и еще. Вот как в этом стихотворении.

Вот такой я, седой,
Толстопузый,
А давно ли на южных морях
Я со шлюпки нырял за медузой,
Мяч гонял ну на всех пустырях?
И водою поил барахолку,
И на пляже – была не была –
Мне почти накололи наколку,
Никаких вариантов – орла!
Помню жидкий кисель вазелина
На своей воробьиной груди,
Черный запах горячей резины
И команду: лежи – не зуди!
Что случилось и что помешало,
Почему я живу без орла?
Может, в ухо судьба подышала
И беду от меня отвела?
Только стерла орла промокашка,
И я нынешний вид приобрел –
Толстопузый, седой
Старикашка,
Представляете – был бы орел!

Громкая чужая речь, английская, а может, и еврейская – не узнать, если ни о той, ни о другой не имеешь понятия. Те самые люди с афиши «Вайнтрауб Синкопейторс», Ю Эс Эй, залетевший неизвестно как в нашу глубинку американский джаз-оркестр! Может быть, и шпионы, но дело сделано – семена этой заразы посеяны, и вот я уже играю на тяжелой дверной щеколде (от воров, с черного хода!) ритмическую партию в нашем дворовом джазе под руководством моего закадычного кореша Вити Агарского (будущий Витек из песни, которая появится через каких-то шестьдесят лет).

Кто сказал, что нужен какой-то выдающийся музыкальный талант, если оркестром руководит твой кореш Витек, играющий на всех остальных инструментах, и всего-то нас в оркестре – он да я?

Правда, к тому времени я уже выходил на сцену Таганрогского уютного Драмтеатра и, как потом хвастал кому-то, повязывал пионерский галстук на шею приехавшим на чеховский юбилей актерам МХАТа (самому Москвину). Нет, не повязывал, но да, выходил с пионерами на сцену. В этой группе поддержки официальных казенных мероприятий (съезды и всякие конференции), для оживляжа. Мы выходили, бойко и пронзительно противными голосами читали заученные назубок юморные бодрячки, в которых была как бы правда-матка, по типу:

Молоко водой для плана
Разбавляем иногда!
А когда даем два плана –
Там уж чистая вода!

Это я сочинил мимоходом, сейчас, чтобы не рыться в газетных архивах в поиске первоисточников, частушек, сочиненных мастерами жанра вроде Сергея Михалкова, к которому, впрочем, отношусь хорошо. Вообще, я не собираюсь ничего подтверждать, пусть лучше будут

украшающие всякий текст нестыковки: ведь в искусстве, на мой взгляд, главное – не чистая правда, а – чтобы интересно!

И тут я подхожу к собственно «Про Этому», о чем мог бы и не вспоминать, да нельзя не вспомнить!

Про это

Оркестр вдыхал
И выдыхал,
Порхал по нотам
Легкий ветер.
Горсад блаженно
Отдыхал,
И детство
Праздновали дети.
Стихала к вечеру жара,
Слетали бабочки
С левкоя.
Была навеки
Та пора!
Вы тоже помните такое?

Футбол для южных мальчишек – нечто большее, чем игра. Он – и содержание, и смысл всей детской жизни. Собственно, отсюда, с юга, – и Пеле, и Марадона, и Риналдо, и Деметрадзе (поглядите, как заиграет этот хлопчик на Украине!). И для меня футбол был всем – и гоголь-моголем, и сказкой Арины Родионовны.

С первыми проталинами на тротуаре каждую весну я покидал дом с новеньким, залежавшимся за эти долгие январь-февраль-март мячиком (отец – сам футболист – знал, что лучшего подарка и быть не может!), и звон мяча о еще холодные камни был для меня лучшей музыкой на свете, что там какой-то «Вайнтрауб Синкопейторс» с его блестящими трубами!

Когда еще город спал, я играл в футбол с заборами, со стенами домов, к сожалению, и со стеклами. Ну, просыпайтесь, просыпайтесь, ребята мои, Витек, и Коля Яновский, и сосед из двора напротив Борька Скорняков – сыграем два на два! Как мы дрались показно, хвастая перед девчонками, до первой крови, так и в футбол мы играли до изнеможения, до счета двенадцать – одиннадцать (разумеется, в нашу – а в чью же еще – пользу), когда забить двадцать четвертый гол у обеих команд просто не останется сил! И как всегда, болела за меня Галя, младшая сестра Борьки, – она постоянно вертелась возле мальчишек.

Как-то, когда солнышко уже село и футбольная пыль улеглась на пустырях, я оказался в гостях у Гали и Борьки. Мать была в вечерней смене (страна тогда, и в том числе мой город, начиненный военными заводами, – работала на войну круглосуточно и неусыпно), мы ели вишневое варенье, и ничего еще не предвещало ничего. Потом Галя ушла и возвратилась с другой девочкой, тоже что-нибудь лет двенадцати-тринадцати. Ничего не помню про нее, кроме того, что была она, как сказали, армянкой.

Как возникло Это, не стану придумывать, наверное, оно всегда возникает никак, но Галя потащила меня к кровати, быстро сняла трусики, и мы упали в туман. И мы с ней, я – впервые, а она – нет, проделывали это генетически вечное движение – туда-обратно, и не могли закончить его, потому что просто были еще к Этому не готовы. И никакого чувства, вроде пусть даже детской любви, кажется, не было, и никакой романтики, потому что рядом (это была даже не кровать, а что-то вроде полатей) расположились в такой же позиции брат Борька с армянской девочкой, которая все глядела на меня, и Борька спросил, чуть-чуть с армянской издевкой:

– Хочишь с ним?

И она смущенно ответила, без акцента:

– Да...

Я чувствовал себя секс-символом того первого бала. И больше никогда не повторилось, как мимо пролетело! Да это и было ничем.

А наавтра, таким же вечером, чем-то все-таки растормошенный, я снова возник возле Галькиного дома. Она только глянула мельком своими черными глазами («Ох, эти черные глаза!») и продолжала играть в классики с подружками, подбивая битку. Биткой была баночка из-под крема «Нежность». Ревновала?

Вы можете сказать, что не было такого крема, а был совсем другой! На что я вам уже заметил, что я – не нотариус. И вполне возможно, что не было того вечера, пахнувшего сиренью, вчерашней, как теперь говорят, виртуальной нашей любви с соседской девочкой Галькой.

А может быть, и самой этой Гальки, озорной, испорченной и ни в чем не виноватой в свои двенадцать лет. Она такой и осталась в моей памяти навсегда, а я стал старым, но до сих пор проявляю нормальный интерес, когда вижу красивую женщину, а некрасивых женщин, я думаю, не бывает! И ничто не застит мне глаза. И дедушка Ленин, любимый вождь пионеров, который умер, когда ему было на целых двадцать лет меньше, чем мне теперь, сказал бы о нас с Галькой: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Со своей знаменитой картавинкой, придававшей его словам обманчивую достоверность.

Да простит меня за мой предательский рассказ Галя, хотя, если честно, я думаю, что ее, равно как и меня, давно уже нет на этом свете.

Михаил Танич

Дед по отцу был набожным евреем-ортодоксом, по молодости то ли учитель, то ли раввин, не знаю, а может быть, даже и писатель, но я застал его, человека девятнадцатого века, уже на излете его старости. Он постоянно молился, развесив до полу свои молитвенные прищипки, и смущал мое пионерское сознание гравюрами работы некоего Гюстава Доре из роскошного издания Ветхого Завета. Гравюры тоже не вдохновляли пионера-безбожника Мишу, устремленного всем своим существом на чужие ворота: две стопки портфелей на шести или семи шагах – это уж как договоришься!

Даже семейная легенда о том, что дедушка близко знал самого Шолома Алейхема и что будто бы именно у него во время погромов в Одессе сгорела доверенная на хранение библиотека уехавшего в Штаты писателя, даже эта красивая легенда не могла поднять в моих глазах авторитет человека, который верит в Бога, прости, Господи, меня нынешнего!

Во мне всякого до черта,
От неподвижности
До непоседности!
И все ничего бы,
Но есть черта,
Как бы черта оседлости.
Чертова родинка,
Мой изъяз –
Местечко вместо пространства –
Она сгибает меня,
Как дворян
Распрямяло дворянство.
Ну, не был мой дед
Городским головой,
И он дрожал
Со своими курами,
Когда на Пасху городской
Совал ему в нос
Кулаки с якорями.
Дай ему, дедушка,
Не трусь,
Чтоб знали все в Таганроге!
А то ведь и я не распрямяюсь,
Пока не вытяну ноги.

Совсем другое – отец! Наверное, он тоже был евреем, но главное – был футболистом, не верил ни в какого Бога, гонялся на тачанках с пулеметами за батькой Махно по мелитопольской степи и, когда влюбился в мою мать, уже замещал в свои девятнадцать лет начальника мариупольской ЧК!

А влюбился он в мою мать, вчерашнюю гимназистку, когда она принесла передачу арестованному неизвестно за что другому моему деду, Траскунову (за какие-то чужие прокламации, оставленные в его буржуазном доме черт-те кем – опять же семейное предание!). Надо ли говорить, что во имя революционной целесообразности Траскунов Борис, 1868 года рождения,

главный бухгалтер Мариупольских металлургических заводов, был освобожден из-под ареста. Что, видимо, давало основание рассчитывать на ответные шаги семьи этого недобитого буржуа.

Но здесь, однако, запахло настоящей классовой борьбой! Дедушка Траскунов распорядился не пускать под свой балкон этого юного красавца, чекиста итальянской внешности, с гитарой. Нет, дедушка ничего не имел против евреев (сам – из выкрестов), но он не желал брататься с чекистами!

И мой влюбленный молодой папа, выпускник Одесского реального училища, сдал ЧК! Вы отдаете мне дочку, а я подаю заявление в Ленинградский институт коммунального хозяйства, лады? Так через два года в результате большого компромисса между принципиальным бухгалтером Траскуновым и грозной мариупольской ЧК я появился на свет.

А дедушка Траскунов в войну закончил свои честные дни в эвакуации, в Тбилиси. Глубокий пенсионер, он вечером покупал и набивал табак в папиросные гильзы, а утром рядом с тифлисскими мальчишками торговал штучными папиросами и так добавлял клецки в свой жидкий суп. Потому что какая была пенсия в советские времена? Менее, чем теперь. Фикция, издевательство. Цена проезда на трамвае в один конец – туда, до кладбища.

У меня не было и нет простого и ясного ответа на вопрос: почему так давно и так повсеместно ненавидят или, чтобы помягче, недолюбливают евреев? Мы, да, не лучше, но ведь и не хуже других! Я не мог ответить на этот вопрос своим русским дочерям, тоже, хотя и косвенно, несущим этот крест, но еще раньше я не мог ответить себе! Я слышал, что великая Ахматова не терпела антисемитов. И затыкались на полуслове желавшие рассказать при ней еврейский анекдот. (Как можно! При Ахматовой?!) Кстати, при мне – можно.

И вот когда солдатик помыл сапоги пусть не в Индийском океане, но все-таки в далекой речке Эльбе, а потом отдал долг начальнику на лесоповале, будучи ээком Танхилевичем Михаилом Исаевичем, статья 58, пункт 10, 6 лет ни за что, газеты вдруг ни с того ни с сего захотели печатать его стихи, а он вдруг призадумался: не поднимутся ли вихри враждебные по поводу этого слишком уж неблагозвучного под русскими стихами имени, и не лучше ли было бы звучать ему пусть и не так уж придуманно, а хотя бы покороче, например, Михаил Танич?! А?

И зазвучало, представьте! И сразу в «Литературной газете»:

Серые шинели,
Розовые сны!
Все, что мы сумели
Принести с войны.

И чтобы внести ясность, спрошу у вас: что это – измена, уступка, равная трусости, или, может быть, вась-вась с антисемитами? Нет, я так понимал и так понимаю.

И я убежден: в нашей стране (не в Израиле!) ни к чему с нездешней фамилией быть чуточку впереди титульного народа, ну просто с позиции этики негоже. Лучше быть меньше, чем больше.

Вы скажете, договорился! Значит, Миша Танхилевич пусть сидит себе в стоматологической поликлинике или, как при царе, в антикварной лавке и не мешает Михаилу Таничу, русскому поэту, глаголом жечь сердца людей?

Нет, нет и нет! Но когда артист, из наших, как бы запудрить вам мозги, чтобы вы его не узнали, стоит на сцене чуть ли не полчаса в сборном праздничном концерте со скучным текстом (первая реприза – на пятой минуте!) и ползала зевает, а я так просто сгораю со стыда дома у телевизора, что ему сказать?

Есть и еще один такой, не прогонишь, но пусть за него краснеют односельчане.

А он, наш, держит паузу, уверенный, что он любимец зала, да что там зала, этой страны. Он ошибается! Да, Россия – его родина (тут ни он, ни Россия не виноваты!), но он – не главный сын этой Родины. Пусть такой же, но лучше не выпячивайся! Когда и я забываю об этом, бейте и меня той же хворостиной.

Однажды перед Днем Победы я оказался в зубоврачебной поликлинике на Тишинке. Жду врача. В фойе – большой стенд «Они сражались за Родину», с двойными фотографиями. Человек теперь и он же – юным солдатиком. А фамилии читаю такие: Ализон, Гурфинский, Рабинович, Вульфсон и еще несколько подобных. Я потом спросил у своего врача: «Что же, только евреи, выходит, сражались за Родину?» А он мне: «А у нас в поликлинике других фамилий просто нет!»

На этом закончим наш спор. Я победил! Победил, потому что я вам просто не предоставляю ответного слова.

Школа первой ступени

То, что потом стало называться точным словом – совок, готовилось в школе. И о ней, об этой школе, написаны десятки великолепных книг, каждая со своим запахом – ведь в каждой по-своему, наособицу, звучал даже долгожданный звонок на перемену. Совсем по-другому, и так же кругосветно, звучат звонки на урок.

И все же эти десятки книг – не о моей школе. О моей должен я писать, а не читать. Само понятие – школа, видимо, что-то живое и быстро меняющееся. Во время моего учения, перед войной, было много мелких революций: девочек разлучали с мальчиками, вводили непривыкающуюся форму, учили мальчишек военному делу. На солдатских уроках мы маршировали с деревянными ружьями и на скорость разбирали и собирали затвор тульской трехлинейной винтовки образца 1891 года (стебель-гребень с рукояткой), что вызывало само по себе сомнение, ведь на дворе уже стоял 1941 год! Как можно начинать войну с оружием 1891 года?

Пойдемте со мною, хотите?
Под сводами белых ночей
По лесенке лет и событий
В музей довоенных вещей.
Поедем в автобусе АМО
К моим безмятежным годам.
Вы только послушайте –
Мама
Еще для соседки – мадам.
И примус чихает горелкой,
И так до войны далеко!
И черный динамик-тарелка
Все ищет свою Сулико.
И к ходикам кто-то неплохо
Придумал подвесить утюг,
И это не стрелки –
Эпоха
Проходит свой финишный круг.
Был мир. Был июнь.
И суббота.
И солнце садилось вдали,
За плац, на котором пехота
Кричала: «Коротким коли!»

Годы в школе вообще, оглядываясь с высоты своего возраста назад, – это не самые лучшие годы жизни человека! Постигание необходимых истин (вроде той же таблицы умножения: ну почему семью восемь – пятьдесят шесть?) отнимает столько времени, которое – все! – должно быть посвящено игре в футбол! Каспаров скажет – в шахматы, и тоже будет прав.

А сколько нервов тратится на ожидание вызова к доске, когда ты ни сном, ни духом не готов, а учительница уже поглядывает хищным глазом на твою букву «Т» в журнале. Потеряйся, буква! Ослепни, учительница! Сгори, журнал!

Лично же мои школьные неприятности начались с исключения из школы. Надо мной с малолетства висел какой-то политический рок. Вскоре я просто стану сыном врага народа, а пока на дворе стоит 1932 год, и еще неизвестно, кто станет врагом народа – Сталин или Буха-

рин. Зима, и я приезжаю в школу на коньках. Коньки надевались и снимались с ботинок так: каблук был с дыркой, на ней металлическая пластинка – сюда продевалась пятка конька, а спереди коньки привертывались лапками. И поскольку ботинок этого диссидента был несколько уже лапок, надо было подкладывать свернутую бумажку – ну чуть-чуть всего-то и не хватало, каких-то полсантиметра.

А поскольку сидел этот лирический герой книжки обо мне всегда на последней парте среднего ряда (там всего менее видно, что никогда и никакими домашними заданиями он не утруждался), то именно прямо над ним висел портрет товарища Сталина, малоуважительно приколотый двумя кнопками к стене. Малоуважительно потому, что еще не было за что его серьезно уважать – он еще никого пока не убил! Тогда был всего один портрет товарища Сталина работы Исаака Бродского, этакий чернявый красавец с шевелюрой, без возраста и национальности, в зеленом френче, а вокруг – много белого поля.

Нет, конечно, мальчик не собирался рвать портрет этого вождя (как можно!), но что за грех – оторвать всего лишь белый уголок, не задевая даже нижнего края суконного френча? А коньки привинтить и уехать по вечерним улицам домой – в самый раз. Тем более что в классе никого не было, никто и не узнает! Хотя подозревал-таки школяр, да и не мог не думать, что при советской системе свидетель и понятой всегда найдутся. И нашлась уборщица, которая все как бы видела, и на учкоме (была еще, хоть и доживала свои дни, такая затея управлять школой совместно с учащимися) девятилетнего зареванного парня попросили больше в школу номер восемь не приходить.

Он все-таки отбыл свою десятилетнюю повинность и накануне первого дня Великой Отечественной написал в выпускном сочинении (была свободная тема «Расставание со школой») в стихах:

Пройдет еще с десяток лет,
Как этот детский май,
В моей душе умрет поэт,
Но будет жить лентяй!

За этот бодрый восклицательный знак лентяю было поставлено «5, идеологически невыдержанно!» И мальчик получил аттестат зрелости, который – так случилось – ему никогда не понадобился, а вскорости и свои несколько метров обмоток. Я мог бы незнающим объяснить, что это такое, обмотки, но я сейчас вспоминаю школу.

Русский язык и литературу преподавал у нас Александр Николаевич Баландин, добродушный, округлый такой седой старик с какой-то, казалось мне, тартареновской бородкой.

Задумайтесь, пропускающие стихотворения, о связи времен! Меня учил человек, лично знавший Чехова! Он тяжело дышал и то и дело вставлял в свою речь латинские выражения вроде «omnia mea mecum porto», «о темпора, о морес!» – ведь еще так недавно в этих классах изучали латынь как предмет.

А когда в программе седьмого класса был не любимый им и боготворимый мною Маяковский, он нарочно поручал мне делать реферат, вздыхая и закатывая свои голубые церковные глаза.

Писатель З.Паперный, занимавшийся Чеховым по-научному, рассказывал, что как-то в Публичке он читал о Чехове лекцию. «Чехов умер, – сказал лектор, – в тысяча девятьсот четвертом году в Германии». И тут пожилой господин из угла зала возразил: «В тысяча девятьсот шестом!» – «Нет, это бесспорный и общеизвестный факт – Чехов умер в девятьсот четвертом году». – «В девятьсот шестом! Я был на похоронах!» И все! И зал обернулся в сторону очевидца.

Так вот, не уподобляюсь ли я, рассказывая о чеховском Таганроге, этому господину «Я был на похоронах»?

Тем более что лечил меня от бесконечных в детстве ангин и ларингитов доктор Шамкович, соученик Антона Чехова: тот учился уже в третьем классе, а мой доктор – в первом.

Нет, похоже все же, что я был на похоронах.

Когда вам всего четырнадцать, то и поручик Лермонтов мог бы вам показаться глубоким стариком.

Это уже была школа номер десять – огромное здание из красного дореволюционного кирпича, бывшая женская таганрогская гимназия, на Николаевской улице, недавно переименованной в улицу Фрунзе. Как просто было с названиями в царское время. Вот и в Таганроге: Николаевская, Александровская, Петровская, Елизаветинская! Ну откуда взялась в Таганроге улица Розы Люксембург?

А дальше по Николаевской была школа номер два, бывшая мужская гимназия. И в ней среди прочих мужчин учился Антон Чехов, и в городском драмтеатре было даже кресло на галерке с именем этого гимназиста, якобы посещавшего спектакли и не имевшего денег заплатить за более пристойное место. Как дорого стоит это «якобы»!

А огромное здание из красного дореволюционного кирпича, когда мне теперь, на юбилее, подарили его цветную фотографию, оказалось небольшим двухэтажным домом, очень даже незатейливой казенной архитектуры. Нет, нет, впечатления надо консервировать, и тогда окажется, что сказка намного важнее правды.

Александр Николаич
Баландин,
Учитель словесности,
Вам и светлая память моя,
И навеки – почет!
Если я Вас не вспомню,
Судьба Вам пропасть
В неизвестности,
Впрочем, может, и так
Этих строчек никто не прочтет.
Александр Николаич Баландин,
Российское семечко,
То ли батюшка в прошлом,
А то ли присяжный в судах,
Вы учили нас суффиксам,
Вот, прости Господи, времечко!
Это было возможно
И сдохло в тридцатых годах.
Александр Николаич Баландин
Гостил у Толстого бывалоча,
И у Чехова в Ялте
Кипел для него самовар!
Он рассказывал нам
Про живого, да-да,
Антон Палыча!
Александр Николаич,
О как же я, Господи, стар!

Вообще все в Таганроге тех лет еще помнило Антона Павловича Чехова. И так естественно первые мои литературные опыты были сочинениями в духе Антоши Чехонте, в которых я, надо признать, не преуспел. Они публиковались в школьном рукописном журнале, но другим авторам Чехонте удавался лучше. И я понял – Чехова из меня не получится, не потяну. А я никогда не позволял себе быть не первым!

Что же касается Пушкина, то тут дело обстояло как будто бы лучше. «У Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом» – стихи сами сочинялись, прямо летело. Даже про Павлика Морозова. Нет, стать Пушкиным – это казалось возможным.

Нет, я не видел Серафима!
Не буду хвастать –
Нет так нет,
А был соседский мальчик
Фима,
И этот Фима был поэт.

И он писал, не зная правил,
Стихи приличные порой,
Где пионер Морозов Павел
Был положительный герой.

Как Павлик письменно и устно
Клеймил любого подлеца,
Считая классовое чувство
Превыше личного отца.

И я, подобно скомороху,
Перо в чернила погрузил
И беспощадную эпоху
Я вслед за Фимой отразил.

И мама очень огорчалась,
Что я – неопытный акын:
В моей тетрадке получалось,
Что все же Павлик
Сукин сын!

Мне часто ошибочно кажется и теперь, что школа не дала мне ничего. Хотя ясно: тяжесть этих ненужных знаний, пожалуй, перевешивает все, что я узнал после. Но лавируя ради футбола, как бы не пересидеть лишнего за книгой, я много не узнал даже из того, что успевали так или иначе узнать мои однокашники.

Печаль моя – математика! Все ее строчки в аттестате, как ранения – в четверках. Иначе бы медаль! Нет, я был проворен и в алгебре. Мало того, ни одна отличница (а лучше меня в классе учились всего две девочки!) не могла опередить меня в скорострельности: на контрольных уже через двадцать-тридцать минут я сдавал свои листки и победоносно покидал класс самым первым.

Часто это бывала пиррова победа! У всех выходящих в коридор позже ответ был, например, восемь, а у меня, шустрого, двенадцать. Ну хоть бы у кого еще было двенадцать. Нет,

восемь у всех. Ладно, во-первых, еще посмотрим, кто прав, когда объявят отметки. А во-вторых, двенадцать, но быстро, и можно покурить в туалете. Хотя так было и когда я еще не курил. И вообще, зачем футболисту знать, через сколько часов заполнится бассейн водой, если я совсем не собираюсь плавать?

Мне стыдно вато, но истина дороже – я плохо знаю даже историю. Правда, по уважительной причине. Учитель истории Николай Иванович Силин был футбольным болельщиком – и он посещал, когда мог, матчи первенства города Ростова-на-Дону. Я был главным забивалой голов в юношеском «Спартаке», ни о каком другом, кроме футбольного, своем будущем не задумывался и всегда видел на трибунах (зрителей на таких матчах всего-то и бывало несколько десятков) Николая Ивановича.

А назавтра он ловил меня на перемене и говорил:

– Ну, Михаил, вчера ты давал и впрямь как Шавгулидзе! – Был такой защитник в тбилисском «Динамо»; не знаю, почему я, форвард, носил такую кличку?

Осмелился бы такой фанат вызвать меня к доске и спросить что-нибудь, например, о каких-то Рюриковичах?

Скажите, могу ли я похвастать серьезным знанием истории, если очень подозреваю, что и сам Николай Иванович Силин тоже ее не знал? Он был парторгом школы...

Почему футбол, а не какая-то другая игра, занял в мире то место, которое занял? Ну что, например, такое теннис? Перекидывают мячик через сетку, стараясь попасть в линию, иногда мажут, долго, занудно, и люди на трибунах поджариваются на австралийском солнце (почему именно на австралийском?), ворочая головами налево и направо, как кенгуру. И все известно заранее: сильнее победит слабейшего, если только он накануне не переборщил по части виски. А если она, то по линии ночного бдения с другой лесбияночкой. Скучно, господа австралийцы!

Футбол – это напряженно, коллективно, это ногами, это борьба, это всегда экспромт, каждую секунду, несмотря на домашние заготовки, – попробуй их повторить, кто же тебе даст, ведь у тех – свои домашние заготовки! Какое движение, какое разнообразие возможностей и разочарований. Футбол – как море, он не бывает два раза одинаковым. Футбол, может быть, и есть сам господин Спорт, а не просто спорт номер один! В нем – легкая атлетика и гимнастика с ее кульбитами, и шахматная стратегия, и двести миллионов кричащих до инфаркта зрителей на бразильском стадионе Маракана. Не какие-то кенгуру с пепси-колой!

Когда ты бежишь
От ворот, от чужих,
После гола
И гол этот сам,
К ликованью трибун,
Сотворил –
То в звездную эту минуту
Твою и футбола
Ты Пушкин,
Ты Дант,
Ты закон притяженья открыл!
И вправе ты думать,
Под душем осанисто стоя,
В компании точно таких,
Ну, почти что таких
Молодцов,
Как громко звучит

Твое имя простое!
И что тебе – Дант,
Если сам ты
Великий Стрельцов.

«Пятьсот веселый» до Ростова

Городок на берегу,
Весь в сиреновом дыму,
Нет на свете городов
Ближе к сердцу моему.
Воробы – на маяке,
Лодки пахнут смолой!
Ты позвал, городок,
Я иду
На свиданье с тобой.

Из Таганрога ходил в Ростов поезд – езды было всего-то два часа, но что это был за поезд! На каждой остановке (а их было много!) местные жители выносили на перрон массу всякой красочной и пахучей снеди: жареных кур и гусей, вяленую, жареную и свежую рыбу, каймак в мокистрочках, копченую тюльку ожерельями, фрукты и овощи.

Особенно запомнились раки. Крупные, теперь почему-то таких и нет, измельчали, они раздвигали клешни в бессилии уцепиться. Я всегда боялся их, даже вареных, в красных рыцарских доспехах – не схватят ли за палец. И всегда не понимал: почему этот заворачивающийся хвост называется шейка?

А черешня – розовая с красным, и красная, и эта желтая, как бы неспелая, но самая сладкая! А вареники «з вышнями» – почему-то окрестные села говорили больше на украинском.

И все это изобилие, весь этот праздник Еды – всего-то через два-три года после голодающего Дона, опухших от голода людей на улицах! Что это, колхозы постарались? Как бы не так! Нет, это был какой-то вздох после голода, а вынесло снесь крестьянское подворье. А рыбу пособило украсть ночью родное Азовское море и вечно впадающий в него в наших краях Дон. В честь которого и называется второй город моего детства – Ростов-на-Дону.

Вагон питался без остановки. Никто не ест так много, как пассажиры пригородных поездов!

А я, рассказывая о себе, как две карты из колоды, тасую эти два города моего детства. То у меня было в Ростове, то – в Таганроге... И вот почему. Счастливая серия моей детской жизни оборвалась так.

Город Таганрог днем дымил трубами своих нескольких заводов, люди набивались в недавно пущенные моим отцом трамваи первого и второго маршрутов, торопились к дневным своим заботам. А ночью, прильнув к окошкам, ожидали арестов; аресты были повальными, массовыми и трудно объяснимыми, было непонятно, кого и по какому поводу берут. Однако никто, ни один человек оттуда не вернулся, и можно было думать что угодно.

Потом откуда-то просочились слухи, что чуть ли не все наши мирные и такие заурядные соседи, инженеры, слесари и бухгалтеры, игроки в домино, оказывается, были в лучшем случае польскими и румынскими, а то и бери выше – японскими шпионами! Зачем им понадобилось за границей столько шпионов, да еще в Таганроге? Это трудно умещалось даже в неразумной детской головенке.

Но уже прошли в Москве первые процессы, и мы слушали подробные передачи о них по своему приемнику «ЭКЛ-34». Слышимость была прекрасная, эфир не засоряли на заре электроники ни тысячи вещателей, ни тысячи глушителей. Перед приговором, помню, отец сказал нам с мамой:

– Вот посмотрите, Радека не убьет!

И правда, тогда не убил («десять лет лагерей»), убил потом, в лагерях!

Весь руководящий Таганрог уже сидел в подвальных камерах городского НКВД. Отец догадывался, что и о нем не забудут, и, как бы прощаясь со мной, подолгу водил меня по городу, который знал до камешка – от Петра Великого до цветоведа Комнено-Варваца, у которого город отобрал оранжерею. И рассказывал, рассказывал мне, опасаясь не успеть, об истории города, и порта, и Чехова, и яхтклуба, и чуть не каждого заметного дома, от Крепости до Собачеевки.

Не успел. Они пришли перед рассветом. Как всегда, перед рассветом, чтобы застать врага врасплох и чтобы поменьше людей знало об их ночных подвигах. Их было пятеро. Понимаю, что среди них был и тот следователь в коверкотовом форменном пальто с пристегивающимся воротником, который потом въедет в нашу квартиру. Таков был закон времени. Комнату в коммуналке получал наступавший сосед. «Я на тебя напишу!» – было не просто угрозой, а еще и похвалой: вот я какой простой советский человек!

Я сидел в качалке, дрожал от холода и от страха (было 8 января, и в доме стояла неубранная елка) и смотрел, как спокойно отец потребовал у них предъявить ордер на обыск.

Позвольте перепрыгнуть в 1947 год, это было уже в Ростове, когда они пришли за мной и моими подельниками и одному из них, Никите Буцеву, предъявили ордер совсем с другой фамилией.

– Я не Соломин. Я – Буцев!

– Ах так? – удивился оплошке старший. – Тогда вот этот документ! – И вынул из стопки листов правильный. – Буцев, говоришь? Собирайся!

Но тот обыск 1938 года в доме моего отца я запомнил навсегда и мог бы описать его в стандартных подробностях. Боюсь повториться – столько об этом написано. Вспомню одну отличительную деталь. Молодой лейтенант (у них, впрочем, это означало что-то большее, чем просто армейский лейтенант!) встал на валик дивана, приподнял стоявший на шкафу завернутый в бумагу и перевязанный веревкой чайный сервиз (он видел, что это сервиз!) – подарок ростовского дедушки – и бросил его на пол. Дзынь-дзынь-дзынь! Бывшие чашки с блюдцами грустно зазвенели в свертке, будучи уже черепками.

Почти через десять лет, в Ростовской внутренней тюрьме МГБ (не верьте меняющим названиям!) я узнал того молоденького лейтенанта в грузном инспекторе (нельзя ли что сделать еще хуже?), крупном чине, чуть ли не самом начальнике областного управления. Он был одет в пижонскую, подпоясанную кавказским ремешком чесучовую гимнастерку с генеральскими погонями. Я же говорил вам, что лейтенант в органах значит больше обычного лейтенанта. Отдайте сервиз, генерал!

И отца увели навсегда. Сначала у нас принимали передачи, и мать получала оттуда какие-то бодрые отцовы записочки, но через пару месяцев записочки исчезли, передачи принимать перестали, и нам было сообщено: «Осужден. Десять лет без права переписки. Ясно?» Ответа не требовалось.

Нескоро стало известно, что это означало – расстрелян. А пока... Если бы только убили человека, так нет, долгие еще годы иезуитский отдел НКВД, или, как там он еще назывался, отдел дезинформации, продолжал убивать семью расстрелянного, обманывать надеждой ожидания молодых, обездоленных тридцатилетних женщин! Чтобы помнили, чтобы ждали, чтобы спокойней было в изнасилованном государстве.

К нам, например, как-то появился человек, вызвал маму на улицу и таясь, по секрету сообщил: «Видел вашего в лагере. В Рыбинске, прорабом работает. Бороду отпустил». Вот так – и бороду отпустил! Какие дьявольские драматурги сочиняли эти пьесы? А главный сценарист нашего всенародного горя покручивал усы в своей бессонной кремлевской канцелярии.

Нет, дорогие граждане грузинского города Гори, заберите вашего генералиссимуса домой, в его Пантеон. И можете кланяться и молиться ему как богу. У нас разные боги.

Провинция, прощай!

Сегодня нездоровится. Начинаю писать под охраной. Охрана моя – маленький стеклянный стаканчик с нитроглицерином. Зажмут сердце воспоминания – таблеточку под язык, отдышаться и, если сил хватит, возвратиться в свой бесконечный город Таганрог.

Провинция, титулярная советница в табели о рангах российских городов, она жила своей отдельной от столиц особой жизнью. С неторопливым укладом, извозчиками, всегда запоздалыми событиями и модами, своими сплетнями и героями. Тогда не было телевидения, чтобы вмиг донести картинку с землетрясением в Спитаке, и в каждом городе бывали свои маленькие землетрясения.

Нет, конечно, и в наш Таганрог вдруг нечаянно заезжал Утесов и пел в уютном (я нигде и никогда больше в мире не видел более уютного летнего театра) садике Сарматова. Ни на что не похожее это заведение состояло из летнего театра, летнего же ресторана, откуда пахло, казалось, запахами еще дореволюционных диковинных блюд с заморскими названиями типа бефстроганов, и осетрина была не просто первой, а вообще речной свежести, со слезой. Каменная мшистая лестница вела зрителей в антракте вниз, в прохладу обсаженного зеленью шале, медленно, чаще всего об руку, прогуливаться, попивая душистую крем-соду, совсем другого способа приготовления, чем нынешние, похожие на микстуру от кашля, пепси-колы.

Деревья были большими – эта формула верна лишь отчасти, и все, что казалось в детстве чудовищно вкусным, казалось таким, потому что было действительно вкусным, а не потому, что было детство. И оно не изменило своего вкуса до сих пор. А что потеряло вкус, то потеряло. И мы знали также (и даже видели их проездом) о футболистах – братьях Старостиных. Но у нас были свои знаменитые братья Букатины и братья Фисенко. Иван Фисенко подавал угловые с правого края, а его брат, рыжий и высоченный Александр, переправлял в сетку ворот чуть ли не каждую подачу. Он как пружина выпрыгивал на две головы выше всех и распрямлялся в воздухе тоже как пружина. И с малых лет вы вообще знали, что правой ногой ему бить запрещено – убьет, и в знак этого на левой ноге его была повязана ленточка – левой можно, не смертельно! Плиз – ведь футбол игра английская.

И пусть у них там Владимир Хенкин – у нас рассказы Зощенко читал артист Галин, и от гомерического хохота в зале описывались дамы и господа. А напротив меня жил знаменитый летчик-испытатель с 31-го авиационного завода, что там ваш Коккинаки! Впрочем, это, кажется, и был именно сам Коккинаки.

Зачем вспоминаются мне все эти ничего не говорящие вам, сегодняшним, имена и фамилии? А затем, что они и есть те самые разноцветные стеклышки, без которых не будет гармонии в моем обещанном калейдоскопе.

Лето 1938 года я прогостил у двоюродного брата в Москве. Он жил на Рождественском бульваре, 13 – дом с колоннами живехонек и теперь, а брат погиб на Отечественной войне.

К началу учебного года с корзиночкой пирожных – и пирожные были хороши, но сама плетенная из тонкой дранки кондитерская корзиночка вызывала восхищение маленького провинциала, – меня отправили в Таганрог. На вокзале почему-то встречал меня очень расстроенный ростовский дедушка Траскунов.

– Маму арестовали, – сказал дедушка. – Поедешь жить ко мне в Ростов. Это надо сделать срочно, к началу учебного года.

Нам с дедушкой предстояло ликвидировать все остатки прежнего благополучного отцовского дома, с которыми выселили нас из Исполкомского переулка чекисты в комнату на окраине. Поселившийся в нашей квартире следователь НКВД оставил себе не все же подряд, с выбором: ну, кожаный диван, ну, шкаф с зеркалом, ну, письменный стол, ковер, не помню что еще, но и осталось всяких кроватей, этажерок, мясорубок и книг, да кастрюль, чайников и

баночек с какао и рисом, лыж и коньков – в грузовик не погрузишь. Да и куда везти-то? Дед жил в ростовской коммуналке, правда, на самой парадной улице Энгельса.

Что делать? Бросить все к черту, той жизни больше нет, и уезжать прочь от горя и слез к дедушке? Нет, нищие люди не понимают всей своей нищеты. Ведь нам думалось, что и этот сундук с запасами муки, и две пружинные кровати, и кухонный столик, и книги, и утварь, и постельное белье – все это чего-то же стоит! Найдется же кто-то, кому это пригодится, найдется и купит. Денег не бывает лишних. Особенно у бедняков.

И нашелся человек, и после долгой торговли (начали с семисот рублей) купил это все-все-все, включая мои детские рисунки, за сто тридцать рублей. Он понимал, что у нас, у старого и малого, нет выхода. Надо ли вам говорить, что этот щедрый человек оказался евреем? Не надо, и я вам этого не говорил.

Итак, мы распродали дом, и поезд помчал меня, сироту четырнадцатилетнего, в город больших домов, областной город Ростов-на-Дону, навстречу всем моим будущим неприятностям. Ну почему одним только неприятностям?

Провинция, прощай!

Здесь мне вспомнилась еще одна провинция, городок Волжский, где я снова недолго жил в начале 50-х с первой женой Ирой. Она была врачом-хирургом в городской больнице, мы вскоре расстались, и едва ли она займет много места в этой книге. А сам город Волжский, продуваемый песчаными ветрами из Средней Азии, необустроенный, придуманный ради строительства гигантской ГЭС на Волге, был ничем не похож на художественный город моего детства Таганрог, у берега моря.

Стандартные строения в стандартных кварталах, универмаг, и столовая, и пивной павильон с алкашами, и больница на отшибе. Никакого сходства, если бы не тот же самый, как переезжающий с места на место фантом, средний класс. И у нас было какое-никакое общество, разумеется, это были врачи – и молоденькие, и местные светила, – и разговоры крутились вокруг аппендицитов и других всяких резекций. А еще начинающие литераторы, художники. И пели хором песни Лещенко (совсем другого) и Шульженко.

Как-то собрались у братьев Якуниных, художников-оформителей. Было много домашней еды, еще больше булькающих пузырей с водкой. Рядом со мной, помню, на полу стояло полное ведро пива. Пиво с водкой – о, это ужасное предзнаменование.

Что не поделили мы с братьями, забыл. Но драка разгорелась быстро, как пожар. Боюсь, что я был не прав, и общество разделилось. На меня навалились женщины и руками и зубами держали мои руки и не давали вскочить, а я орал и бил, и бил братьев ногами! Они принесли топор. За братьями не задержалось – я так их бил, что наутро и еще целую неделю не мог ходить и еле видел одним опухшим глазом кафельный пол в приемном покое больницы, где мы жили в ожидании квартиры.

Такого было не много в моей жизни, и рассказал я об этом случае, чтобы не скрывать всей правды о дурном своем задиристом характере, который воспитало во мне мое лидерство в разных занятиях и особенно на футбольных полянах. «Дебил, засранец, куда даешь?» – кричал я на сверстников с высоты своей ловкости, не понимая, что легко могу схлопотать сдачи. И сходило. У братьев Якуниных не сошло.

И еще потому вспомнил я эту драку, чтобы и о городе Волжском забыть, и чтобы еще раз сказать:

– Прощай, провинция!

Враг народа

Я еще вернусь в шлягер моей судьбы, город Таганрог. А пока я живу у бабушки в Ростове-на-Дону, в его единственной, длинной, как пенал, комнате, окнами на Большую Садовую, ныне улицу Энгельса, а как еще?

Я думаю:
На что уходит время?
Оно уходит на воспоминанья!
Я помню черный бабушкин буфет,
С амурами,
Живой, не антикварный,
С доскою выдвижной для резки хлеба
И будничным столовым серебром, –
Наследством от пра-пра-кого
Не знаю.
В нем пахло кардамоном и корицей,
Кайеннским перцем, тмином и листом
С лаврового венка сеньора Данте.
Я по происхожденью
Не боярин,
И вышеупомянутый буфет
Стоял в квартире многонаселенной,
А бабушка,
Бухгалтерский эксперт,
Шуршал как мышь
Под лампой накладными
И не был образцом для подражанья.
Кругом висели рамочки в модерне,
И солнца луч,
Сквозь шторы проникая,
Моими беспощадными глазами
Отнюдь не уважительно глядел
На этот реквизит из драмтеатра.
Еще там был
Скрипучий гардероб,
И пасть его зевала нафталином!
Но надо всем
Главенствовал буфет,
В амурах,
С деревянным виноградом,
Как символ прочной
Хлебосольной жизни
С крахмальными салфетками
В колечках,
Которая закончилась давно,
А к нам и отношения не имела!
Я вскорости

Расстался с этим домом
И с детством распростился
Как-то враз
В четверг, в конце июня,
В сорок первом.
Я точно помню – именно в четверг!
Мне принесли повестку военкома,
И я ушел, «имея при себе...».
Я оттолкнул веслом свою гондолу –
И призрак девятнадцатого века
Уплыл во мрак,
Чтоб вспомниться сейчас.

Тетя Соня, мачеха моей мамы, с трудом сводила концы с концами и никак не обрадовалась появлению в доме еще одного рта, может быть, и прожорливого. Не помню, на чем я спал, кажется, это была знаменитая х-образная парусиновая раскладушка, с десять раз уничтоженными и одиннадцать раз воскресшими клопами под парусиной. Но помню, что из десятка котлет, которые тетя Соня изобретала из одной курицы на керосинке, мне выделялась та, что поменьше.

Я к этому привык, и когда через несколько лет в Тбилисском голодном артучилище мы делили рисовую кашу, утрамбованную в алюминиевой миске, на четверых, разрезав крест-накрест, мне тоже всегда казалось, что мне достается каши меньше всех. На долгие годы я познакомился, да что там, даже сжился с постоянным чувством голода. Это было более чем чувство – казалось вообще, что оголодала вся страна вокруг. Неправда. Я только недавно опиывал все эти «фонтаны фореи» по дороге вдоль Дона. Просто я всегда жил трудно.

Не так просто было устроить меня и в восьмой класс: почему приходит дедушка, а не родители, и где они, кстати? Мальчик вроде бы хороший – одни пятерки, но не зайдет ли мама? Мама зайти не может, а дедушка не может врать!

И вот я все же учусь в школе-новостройке номер 30, в знаменитом Богатыновском переулке. В том самом, где, согласно песне, «открылась пивная, там были девочки Маруся, Роза, Рая...» И до тюрьмы подать рукой. Тюрьма тоже была знаменитой. И мы еще окажемся в ней, дайте закончить школу и немного повоевать!

О том, чтобы поступить в престижную тогда спецшколу, не могло быть и речи. Носить военные штаны с лампасами, ходить строем по Садовой с песнями «Пропеллер, громче песню пой!», да не дай Бог, с голубыми авиационными петлицами, дедушка и внучек – оба враги народа – не могли и мечтать.

Ладно, тетя Соня, заверните мне холодную котлетку с хлебом – меня пригласили на просмотр в детскую футбольную команду «Спартак»! На тренировочном поле стадиона «Пищевик» меня поставили против юношей, и мы, дети, их поволокли. «Поволокли» может поцарапать чье-то пуританское ухо. Но поскольку вся книга еще впереди, заранее принесу извинения: я говорю и пишу (чего стоят одни только песни «Лесоповала»!) на том живом языке, без купюр, который слышал и узнал с детства. С купюрами как из химчистки – и нет настоящего языка. И мне не запахло употреблять босяцкое слово «западло». Примите уверения в совершенном к вам почтении.

И при счете 6:4 в пользу детей тренер (опять никчемная фамилия – Леонид Перминов) – вратарь взрослой команды! – крикнул с бровки:

– Дайте пацану бить пенальти!

И я пробил щечкой впритирку с верхним углом ворот, тогда еще квадратного сечения. Не потому, что я так именно и хотел, а потому, что я и вообще бил всегда, с шести лет, близко

к тому месту, куда надо. И мне выдали настоящую спартаковскую форму – красную с белой полосой и заветным ромбиком футболку и бутсы. Враг народа в бутсах тридцать седьмого размера!

А когда закончился поздней осенью календарь городского первенства и полетели белые мухи, я как-то после школы взлетел летом на третий этаж своего дома и – о счастье! – оторопел: стоит моя мама, живая и целая, с завязанной узлом старенькой белой шалью, и звонит в дедушкин звонок! Господи, бывали же чудеса во все времена!

Оказалось впоследствии, что когда либеральный кровопийца Лаврентий Берия сменил на палаческом посту железного наркома Ежова, он по какой-то запарке распорядился выпустить из таганрогских застенков целиком всю камеру жен врагов народа, с прекращением следствия. Досталось же, думаю, ему от Самого! Либерал хуев! Мама пришла вся в прыщах от подвального сидения. В прыщах и слезах.

Сбегали за пирожными в кондитерскую на углу Казанского, счастьем и слезам не было конца. Так появились в дедушкиной семье уже два неприкаянных дармоеда. Вскоре, собрав по всей родне какие-то деньги, купили нам комнату на границе города с Нахичеванью, на Нольной линии, за театром и рядышком с вышеупомянутым стадионом «Пищевик». Судьба сама вела меня в высшие футбольные сферы. Не довела. Война не захотела.

Хозяин квартиры был какой-то прощелыга, игравший на скачках. Он бывал дома редко, обычно, обложившись программками, высчитывал свой шанс на воскресенье. Сиживали у него в гостях и, наверное, знаменитые жокеи с ипподрома.

Мама, инженер по образованию, с великим трудом устроилась после долгих хождений и отказов работать экономистом в хилую контору «Главвторчермет» и целые дни проводила за своим арифмометром, компьютером 30-х годов. И предоставленный самому себе, я в эти годы прочел все, что можно было прочесть, – просыпался и засыпал с книжкой под головой. Все, что не футбол, было книгами. Именно в таком порядке, а не наоборот.

К шестнадцатилетнему юноше в пустующей квартире должны же были проявлять какой-то интерес его подрастающие ровесницы! И проявляли, и приходили, и мы целовались, но почему-то все это было пока еще больше детским любопытством.

Чаше других приходила Ира, девочка из нашего класса, которой родители по совету учителей запрещали со мной и знаться: Ира неважно училась. «Этот лентяй – он у нас один такой, он, и ничего не делая, получит свои пятерки, а Ирочка может не кончить школу. И вообще, знаете, семья...» – так говорили учителя.

Но какие могут быть резоны для прикоснувшихся губами друг к другу молодых людей. Мы долго каким-то образом ухитрялись останавливаться, качаясь на краешке соблазна. Ира очень дорожила своей невинностью. Не смогли мы остановиться у нее дома, перед последним выпускным экзаменом в школе. Ира вдруг сказала: «Надо бы что-то подстелить!» И подстелила висевшую на веревке в кухне отцовскую серенькую рубашку из сарпинки, типичное, как и булыжник, оружие пролетариата. Она пришлась кстати. О, эти детские и родительские тайны друг от друга. Сколько в вас вынужденной наивности.

А потом был выпускной бал, ровным счетом 22 июня 1941 года! И мы танцевали только с Ирой, связанные тайной.

А потом была война...

Скрипач

Растопырив пальцы раскинутых рук, парю, невесом, удерживаясь под водой на мелкоте Азовского моря. Толкаю шныряющих и забирающихся под камни бычков. Разглядываю еле ползущих маленьких крабов и думаю: почему они не вырастают, лилипуты? И ничего не хочу, и на фиг мне мой голубой портфель с учебниками, а особенно этот горячий футляр со скрипкой на песке!

Скрипочка была итальянская, конечно, не Амати, но довольно старая – это было запросто купить в Таганроге, особенно в нашем Исполкомском, бывшем Итальянском, переулке. Что-то я с запозданием зауважал мою ненавистную скрипку! А тогда меня ждал на урок преподаватель, скрипач Генрих Гагг, музыкант из Драматического театра. Не знаю, кто из нас больше не любил кого – он меня или я его? Думаю, что я, потому что раз в две недели я все же приносил ему тридцать рублей от родителей. Мог бы меня немножко и любить. Тридцать рублей – за что?

За то, что я оказался бездарен в музыке? За то, что он бил меня линейкой по локтю (я сразу неправильно взялся за инструмент) и приговаривал по-немецки: «Эзель!»? А я уже знал, что это значит – осел, потому что года два меня гоняли и на занятия языком – к немке Адде Ивановне Ланкау.

В немецком полностью доме Адды Ивановны было уютно, прибрано, и пахли свечами и чем-то иноземным все эти вышитые крестиком и гладью подушки, занавески, коврики и рамочки. Здесь не говорили по-русски, и мы читали, она мне, а потом и я – ей, сказки Гофмана и братьев Гримм в дорогах, с золотом изданиях.

Так что сказали бы уж просто осел, а не эзель, герр учитель, может быть, я и явился бы к вам на следующее занятие. А пока я еще поплаваю на мелкоте, выныривая иногда и поглядывая, а не сперли ли еще мою скрипку-половинку и голубой портфель, в котором – выпуски Шерлока Холмса и родительские 30 сребреников, которые я не принесу вам сегодня и вообще, господин Гагг!

Вот и все! И не будет на свете еще одного несчастного, неправильно выбравшего профессию, бездарного скрипача! А будет долгая гулянка всех уличных огольцов по кондитерским на Ленинской улице. Цены: 5 копеек за пончик с повидлом, обсыпанный сахарной пудрой, и 13 копеек за пирожное сенаторское, очень популярное у детворы.

А у нас – бесконечные тридцать рублей, которые не так просто истратить (смотри цены!). И так минимум неделя до прихода к нам – вот уж было мне не догадаться, что такое возможно! – жены учителя музыки с вопросом: «Что с Мишенькой?»

С Мишенькой было плохо. Пустивший на самотек воспитание сына, вечно занятый строительством и преферансом, папаня дал волю обиженным чувствам.

Ремень гулял по моей ниже спины (вышел из положения, чтобы не ошарашить вас задницей), а я лежал и ощущал себя не менее чем декабристом. Терпел и знал, что наконец-то со скрипочкой покончено навсегда.

С тех пор скрипка в моем сознании почему-то связана с ремнем, хоть на самом деле без ремня если что и не может обойтись, так это, конечно, гитара.

Лучше татарина!

Вот вспомнилось, ни к селу ни к городу! Наверное, Макашова в Думе увидел по телику. Лежу, перепуганный плохой кардиограммой, в поликлинике Литфонда. Велено не двигаться, и ключи от «жигуленка» отобраны как бы навсегда. Ждут машину «скорой помощи», чтобы прямехонько везти меня в реанимацию.

Вас возили
В реанимобиле?
Я в нем был
И скажу вам –
Комфорт.
Мы летели,
В сирену трубили,
Как ночной
Президентский эскорт.
Вы лежали
На койке распято?
Я лежал,
И маячила смерть,
И качалась шаландой
Палата –
Из-под ног
Уходящая твердь.

А тут заходит к врачу Стасик Куняев за рецептом – давно, говорит, не сплю без снотворного. Он уже к этому времени поставил на черную сотню, а до того долго мотался – от беленьких к черненьким. Он сказал что-то сочувственное, мол, оклемаемся и еще поиграем в футбол!

Было как-то дело в Малеевке: зимой приходит он ко мне в коттедж, приглашает покатать мячик. «Ботинок, – говорю, – нет подходящих!» «Я тебе свои одолжу!» – И дал совсем почти новенькие высокие финские сапоги. «Повалили!»

И били мы с ним друг другу по голу, он – мне, я – ему, до третьего пота. И он, дилетант в этом деле, зауважал меня ненадолго, как профессионала.

А я, размочивший в снегу его новые желтые ботинки, зауважал его: ишь какой добрый, ботинок не пожалел. Я уже знал его хоть и заемное, но известное стихотворение «Добро должно быть с кулаками». И мы закончили матч в пользу дружбы, и я подумал: «Видно, и впрямь он добрый человек, этот Стасик Куняев!» Больше мы не виделись до самого вот этого моего инфаркта. Он жил уже с копьем Георгия Победоносца. Зачем-то я спросил его, долго не встречал:

– Стас, ну где ты видел этих русофобов, что это такое, я лично не встречал.

– А я встречал. Выкарабкивайся! – сказал он уже в дверях.

И я помчался навстречу смерти, которая, оказывается, тогда еще не пришла.

Если быстро не ходить,
Если баню отменить,
Отказаться от мясного,
От задиристого слова,
Заменить холестерин

Весь – на нитроглицерин,
Да на палку опереться,
Да на солнышке не греться,
Ничего не поднимать,
Никого не обнимать,
В синем море не купаться,
Лишний раз не волноваться
И гостей к себе не звать –
Можно жить да поживать
При-пе-ваючи!

А тогда я подумал: ну, откуда в тебе этот нацизм, Стасик, если сам ты не такой уж русский, и может быть, даже из татар – фамилия-то какая, Куняев, вовсе не от слова «конь»! Откуда? И еще подумал: незваный гость хуже татарина! Но исправился: незваный гость лучше татарина!

Светлый Яр

Начиналась новая жизнь. Я спрыгнул на шоссе с телеги, и возница сказал:

– Вот так, полем, напрямик, версты полторы – и Светлый Яр.

Идти было трудно, вязко в размокшем поле, и грязь по резиновым сапогам поднималась, измазывая одежду до полного неприличия. Весь вечер будущий литсотрудник районной газеты «Коммуна» отмывался и очищался в Доме колхозника перед визитом к главному редактору, а утром был обласкан этим интеллигентным человеком, Виктором Николаевичем Абловым, таким нетипичным для партийных чиновников, кажется, с какой-то сучковатой биографией. Ему нужен был работник, который умел бы хоть как-то писать; те, кто был, могли только собирать материал. А я к тому времени уже делал первые шаги на типографской бумаге.

И вскоре, отдышавшись, я выстрелил большим фельетоном «О чем южат поросята?» Вот так, по-местному – «южат»!

Что касается личной жизни, то я шел по светлоярской грязи и думал только о Лиде, переполненный каким-то новым чувством, которое пышно называется любовь с первого взгляда, но я не пафосный человек, нет слова более точного, но я и менее не знаю.

А Лиду я встретил так. Я работал мастером в котловане Сталинградгидростроя, на монтаже бетонного завода на перемышке. Большая стройка – это большой бардак. Десятки организаций делают свое муравьиное дело, и только главный инженер, один он знает, для чего эти тысячи людей прибыли сюда в набитых поутру до драки автобусах, приседающих на дифференциал. И что они, собственно, здесь роют, варят и бетонируют. Моя организация называлась без поэзии – «Строймехмонтаж», и это, понятно, несмотря на непонятное слово, означало, что мы монтируем строительные механизмы.

Это теперь вольготно: придумал дурацкое слово «УРС», завел бухгалтера, несколько оборотистых нахалов – и гони левые концерты, пока не поймешь, что надо обзаводиться охраной. А раньше – «Строймехмонтаж». Вот как!

Итак, я занимался мышинной возней в котловане, чувствуя себя невостребованным Архимедом, которому пока не дали точки опоры.

Первая жена Ира не ждала меня, как Пенелопа, пока я мотал свой лесоповальский срок, мы были друг другу ничего не должны, и вскоре я уйду от нее навсегда, имея при себе: подушечку-думку, вышитую крестиком, – 25 на 25, книжку «12 стульев» (из мебели) и мельхиоровую чайную ложку (в романе, помните, было ситечко?). Да мне ничего больше, в общем, и не принадлежало в ее доме.

Так, налегке, я и шел тогда по непролазной глине в свои «Районные будни», газету «Коммуна», в поисках точки опоры в виде фельетона «О чем южат поросята?». Шел и мечтал о Лиде, которую, все никак не расскажу вам, я встретил так.

Имея вольное хождение, забрел я на 7 ноября, в самый престольный советский праздник, в общежитие молодых специалистов, в компании с Юрой Абихом и двумя девушками. Юра был залетный, случайный на гидрострое киноартист, белокурый красавчик, казавшийся нам потеперешнему Аленом Делоном. Он сыграл недавно какую-то роль в кинофильме «Звезда», и одна из девиц, естественно, была от него без ума. Непростая, между прочим, девица – из самых настоящих, сбереженных бабушками в Астрахани, подлинных – не падайте в обморок – князей Голицыных! А про поручика Голицына мы еще не слыхали. Зато Юра привез нам романс Пастернака «Мело-мело по всей земле, во все пределы» и спел его. Хорошо, как никто после в моей жизни. Не знаю, куда потом делся этот безусловный авантюрист.

Не придал бы он детективный привкус моей такой заземленной и романтической истории.

Общежитие гуляло. Роскошно накрытый стол: икра кабачковая и свекла маринованная – сколько хочешь, в банках, а еще, разумеется, селедка с луком, а может быть, даже и одесская, с размолотыми копытцами, колбаса. Но вечер был интеллектуальным – пели песни и читали стихи.

И одна девочка, была она тростиночкой, в голубом, очень даже столичном крепдешинном платье с моднейшими переплетениями, взяла в руки семиструнную гитару и под крики: «Лида, спой “Осенние листья”!» – начала перебирать струны. Она негромко, по-актерски запела, и я ее разглядел: девочке на вид было лет пятнадцать, еле заметная грудь, зеленые глаза и невиданной длины ресницы – как приклеенные. Ресницы «прикололи» ловеласа, как бабочку. Когда теперь я люблю ее красивой грудью, мы говорим друг другу: «Наши достижения».

– А теперь, – сказала девочка, – я спою вам две песни нашего поэта Михаила Танича. Музыку, какую-никакую, я подобрала сама. – Она не знала, не могла знать, что это за незваные пришельцы навели их тем вечером, что этот вылупившийся на нее тридцатилетний старик и есть «наш» Михаил Танич, стихи которого частенько заполняли местную безгонорарную газету.

Не знаю, как звучали первые в жизни песни на стихи Михаила Танича, не знаю, какой термояд поразил меня в тот престольный ноябрьский вечер, но через полгода я начал новую жизнь с того, что увяз по колено в непроходимом светлоярском глиноземе. Впервые у моей жизни появилась цель. Песни были надолго забыты, песни в этом воспоминании ни при чем, но девочка в голубом платье с переплетениями как бы шла со мной и была готова разделить мою пока еще непростую судьбу.

Переход через Альпы

Районный центр Светлый Яр представлял из себя длинную немощеную улицу над Волгой, с протоптанными среди грязи тропками, с обязательным двухэтажным зданием райкома КПСС, в одной из комнат которого и работал единственный на всю редакцию – не говорю уже на весь райком – беспартийный фельетонист, совершеннейший чужак среди своих.

Село Светлый Яр жило над Волгой, с Волгой и Волгой. Вот просклонял Волгу, как только мог, в творительном падеже. Но действительно, разве может быть, разве есть на свете рыба лучше, чем свежееотварная осетрина? А чуть посоленная, ну пару часов из матушки-Волги, черная икорка? И пусть по соседству, совсем рядом, освещая наши медовые с Лидой рассветы, перечеркивали небо запуски первых ракет на полигоне-космодроме Капустин Яр, это не нарушало уклада жизни светлоярцев, домовитых, суровых, немногословных, сплошь ходивших в резиновых сапогах. Волга на то и Волга, чтобы кормить волгаря! Лес от плота оторвался, не к плоту же его привязывать, когда дом рядом. И второй поставим! Кондово. А рядом, в Капустинском Яре, на космодроме начиналась в сполохах космическая эра.

Ну, и средоточием всего была чайная. Чай в ней тоже подавали, но мужики забегали туда совсем по другому делу, по двое, а больше на троих, и кое-кто из начальства скрывался в отдельной комнате, и официантка кудахтала, подавая начальникам горячительное – трое пельменей для исполкома!

А литсотрудник – что? Сидел в сторонке, питался котлетками и наблюдал, как залетный Чичиков, местные простые нравы. И все звонил и звонил, влюбленный, той девочке, и она отвечала ни два, ни полтора. Он писал ей стихи, он звал ее сюда и видел ее во сне, в Доме колхозника.

Три крестика
Над первую строкой,
Стежки моих усердных
Вышиваний!
В них – немота
Несбывшихся названий,
Казненных
Привередливой рукой.
В последний миг
Отвергнутые страсти,
А почему –
Ни вспомнить, ни забыть!
И я виновен
В превышении власти,
Когда решалось –
Быть или не быть.
Три звездочки
Поставлю я и рад,
И в облаках влюбленности
Летаю!
Влюбленность я
Любви предпочитаю –
Незнания в ней
Прелестен аромат.

И настал день – девочка получила расчет на Гидрострое! Денег в кассе не было, ее не хотели отпускать, и она согласилась получить взамен денег ничего не стоящие советские облигации. Девочке было девятнадцать лет, она совсем не знала жизни и ни с кем еще не ходила на танцы.

Хочу описать временный, подвесной на тросах мост через потесненную уже Волгу. Он висел, раскачиваясь настилом – своими тремя досками, сбитыми наспех, высоко над Волгой. Рабочие той весной ходили по нему со сталинградского берега на работу и обратно. Однажды с гулянки и я оказался на цирковом этом сооружении и могу поклясться: больше не хочу.

И вот девочка Лида в сопровождении моего друга Толи Пилипенко со всем имуществом ступает на эту шаткую стезю! Надо описать имущество, раз уж я вспомнил про свою мебель – книгу «Двенадцать стульев». Чемодан не знаю с чем, но и с духами в синем флаконе «Огни Москвы» и двумя щетками – одежной и сапожной. Плюс отдельный сверток-скатка, в которой было и настоящее приданое: мамина пуховая перинка и подушка, завернутые в мамину же клетчатую шаль, наподобие пледа. Имущества как бы и чуть, но где взять свободные руки, чтобы держаться за трос и не упасть в чернеющую внизу Волгу?

А если сказать вам по секрету, что девочка Лида и до сих пор боится стоять даже на балконе третьего этажа, то с чем, скажите, можно сравнить ее подвиг? С прыжком акробатов Довейко – три сальто с приземлением на ходули? А не хотите больше – с переходом Суворова через Альпы?!

Такое можно совершить лишь однажды. Я вообще считаю, что все героические поступки совершаются по недомыслию. Если не понимаешь опасности. Ну, и еще по большой любви.

Наш случай был вторым: она меня любила! Так считал я всю нашу долгую и счастливую жизнь. И только недавно, вспоминая этот переход, я спросил Лиду:

– Какая же должна быть любовь, чтобы отважиться на такое?

– Да нет, – сказала Лида, – я тогда еще не знала, что такое любовь вообще. А на тебя, в частности, у меня и вовсе не было надежды. Подумала только: а вдруг?

Вот так, дорогие Александр Васильевич Суворов и Михаил Исаевич Танич!

Константин Ротов

Этап от Ростовской пересылки до города Соликамска полз целый месяц, холодный и голодный ноябрь 1947 года. Мы подолгу торчали в каких-то тупиках, состав часто останавливали для пересчета зэков. Делалось это так: жестокий вологодский конвой, выстучав вагонную клепку (не отломали? не сбежали?) большими деревянными молотками, открывал засов на теплушке (восемь лошадей или сорок солдат) и с криком: «Влево – пулей!» – начинал нас пересчитывать, ударяя по спинам молотками. Когда сходилась, нам забрасывали несколько кирпичей хлеба и засов запирался до следующего «Влево-пулей!»

Давно у меня закончился свой табачок, но был еще один шанс затянуться: выдали мне в ГБ большую квитанцию – бумага отменная, тонкая – на отобранные ордена и медали за подписью начальника Финотдела, чин-чином! Учет плюс советская власть! А у кого-то махорка – подымим, да? И я сначала оторвал верхнюю часть квитанции – свою фамилию: ясно же, что главное – сохранить номера орденов. Потом была прокурена подпись начальника Фио и, наконец, номера отобранных железок – хрен с ними, все равно не отдадут, и жизнь вообще закончена! О, сладкий дым отечества – запах махорки!

На Соликамской пересылке была уже почти что воля, играли в карты, и я даже выиграл у блатных в подкидного дурака новенькую флотскую тельняшку, которая тут же была обменена на нестандартный, килограмма на два, котелок картошки. С Никитой, моим поделцем, мы наворачивали ее с крупной солью, райский деликатес, и угощали им таких же оголодавших соседей по нарам. Какая сладкая была эта крупная соль!

– Художники есть? – раздался голос от двери. И мы с Никитой подняли руки – как-никак, я был студентом архитектурного факультета. А как же? Может быть, это наш шанс?

И суровый дядечка в по-лагерному нарядной узко простеганной телогрейке повел нас под конвоем за забор, в рабочую зону лагеря. Человек оказался знаменитым в мире художником (Британская энциклопедия) Константином Павловичем Ротовым, первым иллюстратором романов Ильфа и Петрова «12 стульев» и «Золотой теленок», когда они печатались как «продолжение следует» в журнале «30 дней». Он был на воле главным художником журнала «Крокодил» и в лагере получал все толстые журналы прямо из редакций, досиживая восьмилетний срок по статье Особого Совещания «ПШ» – «подозрение в шпионаже».

Были еще и такие чудовищные аббревиатуры, как «ЧСИР» – член семьи изменника родины, «КР» – контрреволюционер и другие; их раздавали выдумщики Сталин и Берия счастливым с десятью годами срока, кого не пустили в расход. А я не был ни «ЧСИР», ни «КР», ни «ПШ», я имел неосторожность похвалить германские автострады и радиоприемники «Телефункен», я был просто врагом народа. И этот «прицеп» – три года поражения в правах и паспортная статья минус 39 (запрет жить в 39 крупных городах согласно списку, известному только в органах) растянулся на всю оставшуюся жизнь. Реабилитировав формально «ввиду отсутствия состава преступления», они не сняли с меня никогда своего подозрительного глаза.

Что же касается Ротова, он был взят под белые ручки, вернувшись из государственной командировки в Италию, прямо на перроне вокзала. Из Италии? Как же может не возникнуть подозрение в шпионаже? Честные люди дома сидят...

– Что можете рисовать?

– Все можем! – И мы получили на выбор толстую пачку открыток, бумагу, картон и краски. Я выбрал портрет Молотова и начал было чертить клеточки дело – для меня привычное, подрабатывал студентик на праздники. А Никита на архитектурном не учился, красок отродясь не смешивал, он по простоте душевной выбрал, казалось ему, простенький пейзаж, ну, там всего-то несколько берез, много солнца и травка – «Березовую рощу» Куинджи. И начал

смотреть, как я смешиваю краски. (А где солнечная краска?) Мы походили на двух мошенников из вышеупомянутого романа «12 стульев».

– Вот вы, – спросил у меня Ротов, – знаете ли вы шрифты?

– Как же! – И я быстренько показал на листе бумаги все, что умел.

– Ладно, – вздохнул Константин Павлович, – оставим вас при мастерской. Экзекуция закончена! Мне нужны помощники.

Он сознательно спасал наши приговоренные и висевшие на волоске жизни. Этап из Ростова-на-Дону был весь – 800 человек – отправлен на верную смерть в числящуюся за КГБ мандельштамовскую тайгу под Чердыню.

Женщины

Да, были. Много? Не Пушкин, не считал, думаю, что не очень. Как сказано в моей (с Юрием Антоновым) песне «Зеркало»:

Любовь бывает долгая,
А жизнь – еще длинней!

* * *

Молодые мои годы,
Скатка да лопатка!
Остановочка была –
Город Пятихатка.

Черноглазая одна
В гости пригласила,
За беседой фитилек
В лампе пригасила.

Робкой гладила рукой
Крылышко погона
И пылала от стыда,
Как от самогона.

На подушках пуховых
Жаром окружала
И другого, не меня,
В голове держала.

Было сладко засыпать,
Просыпаться сладко!
Лучший город на войне
Город Пятихатка.

Имея нормальный, без перебора, интерес к красивым женщинам, а также учитывая, что все женщины – красавицы, признаюсь: не так уж много из них и тронули мое сердце. Не воспользуюсь сомнительным правом вспоминать за двоих, не имею разрешения, но кое-что рассекречу. Набираю пин-код.

Марта Лане. Город Бернбург, побежденная Германия. Хозяйка большого трехзального ресторана. Невысокая, очень милая, похожая на киноартистку Марику Рёкк, лет двадцати пяти на вид, щедрая, легкая вообще, когда дело дошло до да или нет, спросила:

- Михель, сколько тебе лет?
- Двадцать один.
- А мне, как думаешь, сколько?
- Двадцать пять?

– Михель, ты слепой – мне тридцать девять! Я – твоя мама.

И ушла из ресторана к себе наверх, и оставила меня вдвоем со своей молодой племянницей Эльфридой из Берлина. Без ревности.

Ликер и двадцать один год сделали свое дело: Эльфрида была взята, как чуть ранее – ее родной город Берлин.

Прощаясь у калитки, она, с обидой покачав пальчиком, сказала:

– Михель, ты эгоист.

Я понял, я тогда хорошо знал немецкий.

Шторка. Послевоенный Ростов-на-Дону. Иду по улице Энгельса, а навстречу, с графином пива (она – с графином пива!), моя соученица Зося. Я не буду в интересах следствия изменять подлинные имена. Во-первых, следствие окончено, забудьте, а во-вторых, это же – любовь! Одна Инесса Арманд любила псевдонима.

Вот так встреча! Мы учились в параллельных десятых, и мы всего-то и слышали друг о друге, когда в ее классе общий преподаватель литературы читал мои сочинения, а в моем – ее. Вдобавок она дружила с моим корешом по «Спартаку», огромным и близоруким Димой Павлюком. Откуда выплывают эти имена? Ведь я же ни черта вообще не помню!

Никаких объяснений, удар молнии – и все! И мы ходим за ручку по разрушенному Ростову, все подъезды, все развалины – наши, и мечтаем уехать куда-то на Сахалин, на Камчатку, рыбачить, учительствовать, к чукчам, к оленям и морозам. Лето, теплынь, и мы, бездомные, сидим по ночам на теплом граните памятника Кирову, любим друг друга просто на неподметенной листве и траве в театральном парке, ночуем у всех сердобольных подруг и знакомых. Зося не имела оснований сказать мне: Михель, ты эгоист!

А однажды, у одного из друзей, днем, я зачем-то пристал к ней:

– Зой, расскажи, как ты провела войну и вообще все-все о своих мужчинах. Не таись. Так интересно.

– Не надо! – сказала она. – Поссоримся!

Я настаивал. И она уступила. Это был интересный рассказ (Зоя стала потом профессором в университете) о санитарном поезде и первой любви санитарочки с главврачом.

– А потом?

– Потом я вернулась в Ростов. И вот, как с тобой, случайно, встретила с нашим учителем математики, Бытько, помнишь?

– Бытько? Рыженький такой, плюгавенький, тараканище?

Бывают же непредвиденные последствия у разговоров!.. «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется...» Классики на то и классики, что пишут про всех и на все времена. Вот и про Зося угадал! Может быть, этот неопрятный хлюпик, всегда в мелу, неказистый преподаватель был только поводом, чтобы подвести черту под нашей, можно сказать, неприкаянной страстью.

Зося-Зоя-Зюечка, у той девочки сорок пятого года прошу прощения и целую руку. Припав на колено, как бывший гвардеец у знамени.

Как-то через годы, проездом в Ростове, я захотел повидать Зою, и подружки привезли меня к ее дому. Я ждал в машине на улице. Долго ждал. Зоя не вышла. Она плакала. Подружка передала ее слова:

– У меня завтра защита диссертации. Он опять сломает мне всю жизнь.

Ну почему, почему все женщины такие красивые?

Шторка! Тала Ядрышникова, наверное, все-таки Наташа – в паспорт не заглядывал, потому как не было у нас паспортов, встретились мы в лагере. Мы работали в художественной мастерской, подписывавшей свои изделия таинственным словом «Усольтесотрест» (догадайся,

что это тюрьма!). Она лепила из папье-маше (формы, бумага и много клея, который назывался декстрин) куклы, фигурки лошадок, дедов морозов, впоследствии я же их и расписывал. А пока я помогал Константину Павловичу Ротову оформлять какую-то показную выставку об успехах в Перми.

Тала была не просто красива, как все женщины, она была красива непростительно! И не простили.

Очень соблазнительно для писателя создать словами рисованный портрет героини. Помните Наташу Ростову, чуть косящую глазами Катюшу Маслову из «Воскресения»? Но не точнее ли в наше время пишут театры в объявлениях: «Требуется Фердинандов для “Коварства” – один, а также Фамусовых – два»?

Заманчиво, конечно, красочно писать портрет некогда любимой женщины в интерьере с колючей проволокой. Но гораздо точнее, и проще, и короче мне сказать: потом, через годы, появится почти в точности такая же блондинка – ее будут звать Мерилин Монро. Это будет ближе к портрету Талы Ядрышниковой, чем тот, на который я извел бы две коробки масляных красок.

Девочка из белорусского города Борисова, она дружила с мальчиком, а мальчик паял конденсаторы, мотал трансформаторы и мастерил детекторы – он был радиолюбителем. Когда пришли немцы, его взяли в разведшколу – пригодилось его запанибратство с наушниками и короткими волнами. Он стал преподавать радиodelo и получил офицерское звание. А когда мы погнали немцев, уже в Германии, где-то стигнул, и Тала, будущая шпионка, 58-б, осталась одна. Таким женщинам одиночество не грозит – и вскоре в нее влюбляется уже наш офицер, комендант города Лейпцига.

Потом она заявила в свой родной Борисов с десятью чемоданами подарков. Дарила всем, налево и направо. Это движение души и привело ее на десять лет в Усольлаг, не самый, может быть, плохой лагерь на нашей родине.

Я согревался и отходил на новой пайке после этапа, было мне не до красавиц, но Тала однажды сунула мне в руки исписанную красивым почерком ученическую тетрадку – все слова там были о любви, о любви ко мне. Дальше всего тогда я стоял от любви, но ни ранее, ни позже мне о своей любви так никто не писал и не говорил. Школьные записочки не в счет! Я впервые увидел ее голубые глаза.

Нам и удалось-то, преодолев тысячу преград, встретиться наедине, может быть, три-четыре раза. Но эти три-четыре раза, в какой-то клетушке мужской бани, за чаном с водой, на коротенькой неудобной лавке – они освободили нас от срока, от лагеря, от режима и вообще от постороннего мира и земного притяжения – мы были Ромео и Джульеттой.

А за ней продолжал ухлестывать один из начальников лагеря (я говорил, что она была создана для этого!). Его фамилию я тоже помню – Рейферт. Не думаю, что это немецкая фамилия. И когда, не добившись успеха, он безжалостно и внезапно выгнал ее на этап, я повязал ей свой шарфик и плакал, как крокодил, не стыдясь, а вскоре угодил и сам в тайгу, в другую тайгу. И мы растворились друг для друга, как в соляной кислоте, на просторах сталинского ГУЛАГа. Ромео и Джульетта. «Джульетта моей лагерной тоски» – кто это сказал? Неужели не я, неужели кто-то другой?

Мне не в чем каяться,
Но врезалось навеки,
Как пряно пахло мятой и травой.
И как мы вглубь свернули с лесосеки,
И офицерский плащ под головой.

А это – Маша, любовь моя недолгая, скороспелая, рисковая, одноразовая. Все, собственно, в стихотворении – и тайга, и дождик, и страх, и спешка.

Дело в том, что об эту пору я уже имел пропуск на бесконвойное хождение и работал бухгалтером по расчетам в конторе, бюрократ, и сплавщики и шоферы (большинство – сосланные немцы), зная, что я помаленьку попиваю, клали мне легкие рублики под счета. А сидел я стол в стол со старшим лейтенантом Камакиным Александром Ивановичем, моим главным бухгалтером, очень хорошим парнем. Откуда такой в органах?

А Маша, бывшая жена полудурка – начальника режима Колесникова (вот его-то и был плащ), снов моих зазноба, прелестная чалдонка, беленькая, с волчьим выражением желтых глаз и вздернутым хищно и прекрасно носом, была уже к тому времени официальной женой моего главного, Машей Камакиной. И стала навсегда недоступной для меня по причинам морального характера.

А следующей женщины не будет, не то будет перебор, а я этого не люблю. Мне хватит, остальное – берите себе!

Отступление о танках

Отстрадавший шесть лет с прицепом за политику, я, если честно, не имел и не имею никакой политической привязки. Меня можно с трудом увлечь любыми идеями, от анархии до монархии. Против одного только цвета радуги я настроен вполне отрицательно – против красного и переходящего в него коричневого.

А какой я все-таки политической ориентации? А глядят мои глаза на Швецию, на Швейцарию глядят. На Голландию, наконец. И не в том дело, что там свобода, кантоны и короли с королевами! Они приютили бездомных, накормили голодных, приласкали инородцев и научили всех, своих и чужих, терпимо улыбаться друг другу при встрече. Вот какой у них там политический строй, чего и нам желаю!

Но коммунистов все равно не люблю, ну, правда, не так, как Ленин не любил царя из-за смерти брата. И даже на вид не нравятся мне они. Ни эти, портреты которых я рисовал, а вы носили на первомайских демонстрациях; ни те, которых было, назаписалось, 18 миллионов и которые смотрели на партийный красный билет не иначе как на хлебную карточку. Этим даже еще меньше уважаю, чем портреты. Господи, как они побежали врассыпную, когда мы Феликса-то их железного да на крик! Спотыкаясь о горы брошенных под ноги партбилетов.

А судить их не призываю – все мы виноваты, что допустили их издеваться над нами! Нас-то было поболее.

Эти бессовестные люди, большевики, завели в тупик народ, довели полмира до нищеты и продолжают снова попытки возвратит свой лагерный коммунизм. Не моргнув глазом на миллионы загубленных жизней, не веря в свою идею (нет у них идей, им нужна только власть!), они снова верны своему идолу с протянутой рукой.

Когда через миллиарды лет обнаружат в раскопках каменного человека нашего времени, В.И.Ленина, могут подумать, что Номо sapiens выглядел именно так: носил кепку, и правая рука, вытянутая вверх и вперед, у него вообще не опускалась.

И лежит это идолище посреди главной площади страны, и большая часть зомбированного народа не дает похоронить его как человека. Может быть, я враг именно этой части своего народа?

Похороните его как христианина, как иудея, как мусульманина, как хотите, все равно. Похороните тайно, без оркестра, даже не под его именем сначала, чтоб без шухера. Возьмите мое, сгинувшее и так сорок лет тому имя: «Танхилевич. Точка. Владимир Ильич. Точка». Да я первый положу на могилку цветы, чтоб не слишком тратиться – нарциссы. А потом возвратим памятнику его псевдоним!

Есть, правда, есть слепые большевики, их много. Например, Николай Иванович Рыжков. Как собирательный образ. Он мне симпатичен. Он вкалывает всю жизнь на своем ВПК, с утра до ночи. Он едва ли читал «Коммунистический манифест» или «Капитал» Карла Маркса, нафига ему? Но он им служит, он круглосуточно делает танки, много танков, на каждого жителя страны по одному. Для чего нам с Лидой наши два танка? Нам и одного – за глаза! Можно даже без пушки. Так, на базар иногда съездить. А вообще, Николай Иванович, мы любим чурчхелы, мы меняем два своих танка на чурчхелы, только обязательно с грецкими орехами.

Кстати, о танках. Вообще танк – это такое громоздкое, никчемное, дорогостоящее сооружение, которое легко уничтожается со всех сторон (сверху, с боков и сзади), кроме лобовой – там толстая сталь. Но какой дурак будет биться лбом об эту лобовую сталь? Вспомните Грозный – 1994. Погибель и тем четверым внутри, и сколько нас там наверху. Мальчишки сильнее танков. И пусть кинут в меня камень стратеги, опирающиеся на танковый прорыв.

Кстати уж, и о лыжах! Зачем это неудобное приспособление, мешающее ходить по земле? Приспособление для неудобной ходьбы. Длинные, неуклюжие, они вдобавок требуют еще и не просто снега, а нарочитой лыжни. И смазки. Это как бы идти и катить перед собой тяжеленный рулон ковровой дорожки! Расстелил, вернулся, покатил.

Ну как, вы согласны со мной насчет похорон В.И.Ленина под еще более чужой фамилией?

Гнездо

Как жил первый враг народа в нашей семье, основатель династии, мой отец? Дипломированный инженер, он руководил городским коммунальным хозяйством: строительство, жилье, электричество, водопровод – список длинный. Человек энергичный от природы, четырнадцатый (через 20 лет после тринадцатого) ребенок у родителей, он буквально пропадал на работе: строились электростанция и первая трамвайная линия до металлургического завода, перечеркнувшая искрами от дуги вековое захолустье. А вечерами, за полночь, у нас играли в карты: преферанс и покер. Это была страсть, а может быть, и призвание – отец был непобедимым игроком в карты, шашки и домино, ну, гроссмейстер. Я не унаследовал ни этой страсти, ни таланта. Однажды, в начале голодных тридцатых, он прикатил из отпуска, из Кисловодска, на пролетке, полной выигранных вещей: кавказские бурки, топленое масло в глиняных горшках и прочий-прочий кайф.

Как жили мы все-таки материально? Я думаю, вне роскоши. Елку, которая, нарядная, стояла, когда забирали отца, мы несколько дней, вернее, ночей, украшали с мамой: клеили самодельные бумажные цепи – колечко в колечко, из яичных скорлупок мастерили клоунов, надев колпак на то место, где была в яйце дырочка, красили бронзовой пылью грецкие орехи. Да мало ли на какие выдумки хитра голь, согласно пословице!

В общем, как видите, за тридцатиметровую квартиру и осетрину в очередь с макухой с отца было спрашивать нечего.

Думаю, что равновесие в семейном бюджете сохранялось не благодаря его зарплате размером аж в тысячу рублей, о которой я узнал, когда ездил получать эту посмертную циничную тысячу после реабилитации отца «ввиду отсутствия состава преступления». Эстафета была передана мне с повторением подробностей, за исключением слова «посмертно» – Бог пронес! А нас выручало, когда у отцовских партнеров по пульту была парочка взяток на мизере.

Квартира у хозяина всех квартир в городе была незавидной: по сути – одна большая комната, зал; проходная комнатуха в кухню использовалась как моя детская, в ней помещались кровать и парта, и висел на стене голосистый телефон, которому накрывали пасть подушкой – заткнись!

Правда, в дверном проеме, что в кухню, висела трапедия, потому как сын врага, сам будущий враг народа, мальчик Миша бредил цирком! Он мечтал стать акробатом под куполом, жонглером, наездником, а главное – клоуном. И он жонглировал шариками, кувыркался на трапедии, кривлялся и бил чечетку, как мог. Целыми днями. Когда в доме не играли в карты.

В Таганроге был стационарный зимний цирк, а летом в городском парке – еще и шапито, и мальчик Миша, пользуясь отцовскими связями, был завсегдатаем представлений и репетиций и все пытался разгадать секреты фокусов знаменитой иллюзионистки Клео Доротти, норовя забраться в кубик, из которого богиня цирка только что вынимала своих двойников-лилипотов. Теперь-то, и не разгадав секретов фокусов, я думаю, что, наверно, Клео Доротти – это просто Клава Доронина. Или как-то похоже.

Может быть, большая наша комната была и не большой – мальчик-то был маленький, но в ней помещались две кровати родителей, кожаный диван, обеденный стол посередине, большой зеркальный платяной шкаф и отцовский запертый всегда письменный стол, запертый не потому, что в нем хранились бумаги и шоколадные конфеты, а потому, что в верхнем ящике лежали два, маленький и большой, видимо, именных, со времен ЧОНа, черненьких вороненых пистолета системы «браунинг.» А Миша мечтал пострелять. Еще бы! Неподалеку мой ровесник нечаянно убил из ружья соседского пацана. Когда отец все же повел меня пострелять в наш сарай во дворе, я никак не мог нажать тугой спусковой крючок, а когда отец хотел мне помочь, я как-то его нажал и прострелил отцу кожу между пальцами. Не балуйте детей!

Мы разное питались в разные годы: ели и оладьи из картофельных очистков, и макуху, и свежую осетрину, и балык – все-таки море!

Тридцатые годы, бешеный бег дней, полных неподдельного энтузиазма трудовых подвигов, а также и цифр, цифр – мы догоняли Америку! (Она об этом не догадывалась.) Куда торопились наши дни? К пропасти, которая вскоре разверзнется перед страной в виде повальных арестов и расстрелов, а потом к почти проигранной в 1941-м войне.

Мы выиграли эту войну, стиснув зубы, и я, солдат Великой Отечественной, возвратился из Германии в свой уже другой город Ростов, с чемоданчиком (а в нем – документы, пара отомщенных немецких брюк и пиджаков и футбольная амуниция, да еще на подарки стопка атласных голубых женских бюстгалтеров, просто задаром продававшихся в Военторге) и вещмешком с пятью килограммами сахара, полагавшегося солдату как премия за победу.

С каким-то старшиной мы погрузились на рикшу, пожилого дядечку с тачкой, и шли за ним, вспоминая войну и дымя роскошными гаванскими сигарами. Два юноши, два счастливца, вернувшихся домой. Нам оказалось по пути.

– До Ткачевского! – сказали мы рикше и продолжали, перебивая друг друга, перебирать в памяти свои фронтовые одиссеи. Рикша семенил впереди, у старшины были тяжелые чемоданы.

А потом, в районе проходных дворов на базар, рикша вдруг исчез, как и не был. Мы забыли, что наш город называется Ростов-папа! Мы припустили бегом, расспрашивая встречаемых прохожих, но никто такого дедка не видел (сейчас думаю: хорошо, если ему было сорок). И вдруг одна женщина сказала: «Сидит там какой-то у Ткачевского». Боже мой, дружище, как мы могли подумать плохо о тебе, о нашем городе? Как мы могли прийти голыми и без документов с такой войны?

Вот тебе денежки, вдвое больше, вот тебе две коробки сигар. Я готов был на радостях подарить ему не ордена, нет, но пару медалей – точно!

Все же, хоть и перескочив на десять лет вперед, я рассказал вам о родительском доме, об этом гнезде врага народа, в котором он выращивал похожего на себя птенца Мишу, из той же породы неверноподданных.

Нольная линия

Какое неуклюжее название улицы, верно? Но это была настоящая улица в настоящем городе Ростове-на-Дону, и я на ней имел счастье прожить более года. И вставал пораньше, чтобы успеть к привозу молока в цистерне и в очередь за другими неожиданностями в здешнем продуктовом магазине.

Кончайте свои
Стариковские враки,
Что было, мол, пиво,
А к пиву, мол, раки.
У нас в продовольственном,
В полуподвале,
Пока себя помню,
Чего-то давали.
Под ложечкой, ох,
Всю дорогу сосало,
Но все же давали
То мясо, то сало.
В воняющих бочках
Стояла селедка
И шла под картошку
Особенно ходко.
Но если к зиме
Появлялась картошка,
То тут же с селедкой
Случалась оплошка.
Вот так и живем,
Под звездой афоризма:
То чай, а то сахар,
То жопа,
То клизма.

Я учился тогда в девятом классе, писал стихи, наворачивались стихи о любви, да все как-то не было лирической героини. И вдруг она появилась! Просто зашла в класс, сказала:

– Я ваша новая преподавательница. Меня зовут Антонина Андреевна. Мы будем с вами изучать экономическую географию капиталистических стран...

Потом она сказала:

– Англия. Согласно английской конституции, король никогда не ошибается. Ошибается за него парламент...

Вот как? И я поднял на нее глаза со своей последней парты. Ученик и учительница! Сколько мы слышали и читали всякого на эту тему. «Барышня и хулиган» – у любимого моего Маяковского. Потому и писано, что такая тонкая защита у обоих сердец, просто никакой защиты!

Это вовсе не значит, что она тоже сразу разглядела человечка, заднескамеечника и скорей всего двоечника – это их место.

Она была молода, только что из университета, хороша собой, одевалась модно, кажется, замужем. Но что мы знаем о своих учителях? И какое значение имеет для меня это «замужем»?

Гляди себе на нее и радуйся. И я глядел и радовался, и следил за ней, как подсолнух за солнышком, и писал впервые лирические стихи.

...И украдкой
От карты
Земных полушарий
Я косил в Вашу сторону
Полушария глаз.
Я любил Ваши волосы
Цвета пустыни,
Я на Ваших уроках
Сидел, молчалив,
И плескались,
Плескались
В глазах Ваших синих
И Берингов пролив,
И Бискайский залив...

Она не могла не замечать этого сумасшедшего мальчика, иногда просто заглядывающего в учительскую, чтобы лишний раз увидеть ее. Наверное, замечала, не подозревая, что, может быть, это любовь.

И однажды зимой, в морозец, мы вместе вышли из школы. Был день, ветерок, и оказалось нам по пути. Мы шли и шли по длинной Садовой улице, о чем-то неловко беседовали, и я не смел опустить уши на шапке-ушанке (кавалер, впервые идущий рядом с настоящей барышней!), а проклятая Садовая улица ну никак не кончалась.

Наконец мы прошли и вовсе продувную Театральную площадь. И вдруг на моей Нольной линии она сказала:

– Теперь опусти уши на шапке и до свиданья. А я сяду на троллейбус – мне дальше.

Это звучало вроде как бы и обидно, но это было спасение! И потому вы видите на моем портрете живые уши, пусть даже и отмороженные тем далеким солнечным и ветреным днем в городе Ростове-на-Дону.

Я забежал в речное пароходство на Нольной и, прыгая и стеля, оттирал руками погибшие заради любви свои уши.

И долго-долго потом, многие годы Антонина Андреевна Стасевич присылала мне к праздникам коротенькие обязательные открытки с морально правильным текстом, я ей отвечал в той же тональности. Она так ничего и не узнала про мои отмороженные уши.

Пузо

Перед войной или в самом ее начале распрощались мы с нашим «жокеем» и переехали на окраину Ростова, в заводской район Сельмаша, тоже в жалкую комнатенку на первом этаже. Езды до города и маме на работу – с час, и я вдали от города, по сути, бездельничал, без всяких перспектив, кроме одной: военкомат, армия, фронт, похоронка.

Без света в конце туннеля.

Тогда на Сельмаше,
В бараке,
В семнадцать неполных
Годков
Я спал после уличной драки,
Я спал и не слышал гудков.
Но бахнуло взрывом по стеклам,
И начался переполох,
И воздух стал плотным
И теплым,
А я с перепугу оглох.
И солнце, зажмурясь, погасло,
А «юнкерс» давал и давал!
Детей и топленое масло
Тащили хозяйки в подвал.
И как там вокруг ни горело,
Хозяйки смотрели вперед –
Закончится время обстрела,
И время обеда придет.
И чья там гибель –
Не ясно,
Но жизнь продолжаться
Должна!
Была на топленое масло
Такая крутая цена.

Первая бомбежка, неизгладимка! Хозяйки с детишками куда-то заполошно бежали, а я оторопело стоял и глядел в небо, где в голубом-голубом просторе висели серебряные бомбардировщики и, казалось, прямо на меня сбрасывали игрушечные бомбы. На темечко. Душа моя тряслась от страха, но ноги как прилипли к земле – и ни с места. Шныряли низко, не смея подняться ввысь, фанерные наши «ястребки». С завода повели первых раненых.

И вот в каком-то наспех собранном эшелоне с металлом («Главвторчермет»!) под такими же бомбами всю дорогу мы с мамой в теплушке пересекаем Северный Кавказ и приземляемся в городе Махачкала. В теплушке – огромная голова кем-то украденного швейцарского сыра. Живем в огороженной досками клетушке – два на два, при железном складе. Скучно, голодно, но бомбы не долетают. Тыл.

Мальчику скоро восемнадцать, он грамотный и просто обязан помогать: а) маме и б) фронту. И такая работенка находится. Меня принимают на фабрику деревянной игрушки сверловщиком, токарем я так и не обучился, будучи тупым (эта тупость так и осталась навсегда) к точке инструмента – главному умению для токаря по дереву.

Фабрика уже была оборонным предприятием – мы делали не игрушки, а банники для минометов разных калибров. Я сверлил дырки под будущую щетину. Давался какой-то супчик с хлебушком (Господи, я потом полжизни проживу на пайке), но ровно на этот супчик маме стало легче прокормить растущего оболтуса!

Вставал чуть свет, осень, ветер с дождем, одежда продувная, дорога дальняя. Пока дойдешь до фабрики, три раза печенка к спине пристынет. Зато в цеху так сладко пахнет сушащейся древесиной, жарко горят печи, и можно, научившись у пожилых двадцати-тридцатилетних рабочих, скрутить козью ножку, насыпать махорочки и покурить у огонька. Кайф.

Много ли, не помню, съел я этих супчиков для минометов, но вскоре пришел из Тбилиси мне вызов в мой эвакуированный туда Ростовский институт железнодорожного транспорта. Прощай, мама! Прощай на всю войну. Тебе предстоит крестный путь в немецкую оккупацию.

В самтрестовском подвале
Застолья шум и дым!
Тбилиси, генацвале,
Подвинься, посидим.
Былое навещаю –
Безденежно живу
И бритвой подчищаю
Талончик на халву.
К лавашной на майдане
Хвосты очередей,
Базарный Пиросмани
Случает лебедей.
И сердце суетится,
Влюбленное грешно
В грудастую певицу
Из летнего кино.
А ей-то, ей, бывалой,
И вовсе не знаком
Неловкий этот малый
С гусиным кадыком.
Иду мечтать о славе
На местный Голливуд
На «Диди Моурави»
Массовщиков зовут.
И ежусь угловато,
Приписан и раздет,
В дверях военкомата,
И мне – семнадцать лет.
Стреляю из нагана,
Играю палашом,
А рядом из духана
Несет благоуханно
Вином и лавашом.

Жизнь в Тбилиси была райской. Далеко от войны. Инжир, вино, по керосиновой карточке на 1-й талончик можно получить 400 граммов отличной халвы, а если подчистить и 4-й, очень

похожий талон, то и все 800. Наловчимся! До сих пор не встречаю такой вкусной халвы. А чего стоили пончики с заварным кремом в кафе на Плехановской!

Дорога жизни вела меня сюда, на Плехановскую, но не в кафе, а в Тбилисское артиллерийское училище, готовившее офицеров еще для белой армии. Никаких пончиков, а утрамбованная миска каши делится на четверых. (Кому? – Гоги!) И целый год, прожитый среди грузинских пацанов – Гогнидзе, Дзнеладзе, Майсурадзе. Свидетельствую и не меняю этого мнения: грузины – народ замечательный! Из лучших.

А потом – выпуск, и прозревшая мандатная комиссия докопалась-таки до расстрелянного отца и выдала мне вместо двух положенных лейтенантских кубиков три сержантские лычки на погончик. Вот и спасибо, а то, не дай бог, генералом стал бы!

Мечтаем, каждый – о своем,
Но объявляется подъем,
Когда казарме снятся сны.
Капрал командует: вперед!
А сам, конечно, отстает
И на войне, и без войны.

Молитвы знаем назубок,
Но больше верим в котелок,
В котором булькает крупа!
Девчонки с нас не сводят глаз,
Сегодня – с нас, а завтра – с вас,
Любовь, она слепа!
Как хорошо быть генералом,
Как хорошо быть генералом!
Лучшей работы
Я вам, сеньоры, не назову!
Стану я точно генералом,
Буду я точно генералом,
Если капрала, если капрала
Переживу!

В субботу нас под барабан
Выводят строем в кегельбан,
А впереди капрал идет!
Но все равно, но все равно
Всегда распахнуто окно,
В котором нас улыбка ждет.

Мы четко знаем всех невест
И в гарнизоне, и окрест,
А также барышень и вдов!
Но лично я для randevu
Ищу веселую вдову
Семнадцати годов!

Пехота топчется в пыли,
Капрал орет: рубай-коли!

А мы хотим рубать компот!
Капрал, голубчик, не ори,
Ты отпусти меня к Мари,
Пока еще девчонка ждет.

А впрочем, черт тебя дери,
Не отпускаяй меня к Мари,
И через восемьдесят лет
Тебе, капрал, за долгий труд
Штаны с лампасами сошьют,
А может быть, и нет!

И вот, вожу солдатиков запасного полка в заснеженное поле на Холодной горе в Харькове, к огромной неподъемной гаубице 152 мм, и учу артиллерийскому уму-разуму. А они, голодненькие, бедненькие, все глядят в сторону кухни: скоро ли зачадят форсунки, кипятя воду с редкой капустой под названием – обед.

Да и сам я поглядываю туда же, состоя на одном с ними жидком довольствии. Как чертовски хочется жрать! Всю жизнь. Вот и наел к концу жизни свое ненавистное пузо.

Вальс Хачатуряна

Как жилось мне накануне ухода в армию в городе Тбилиси? Молодо жилось, весело, голодно – как перед концом света. Август 42-го. Где-то уже не так далеко грохочет война, а у нас инжир поспел, и молодое вино маджари стоит копейки, но и копеек у меня нет.

И хлеб по карточкам съеден уже за два дня вперед, и в столовой на станции Тбилиси Товарная 28-го числа приходится умолять буфетчицу выдать хлебушек по талонам следующего месяца:

– Ну, Нателочка, ламазо, ну, пожалуйста!

Подрабатывая грузчиками на Товарной, мы получали еще тарелку похожего на хаш супа, но к вечеру спина болела от тяжести колесных пар или сотен ящиков с яблоками, а предстояли еще лекции в институте, хотя бы две первые. Почему две? А потому что после них полагалась в буфете булочка и две-три кильки в придачу. Никогда не ели сладковатую булочку с килькой? Помнится, это было как бабушкин кулич в детстве.

Ростовские железнодорожные студенты занимались после тбилисских, во вторую смену, но и мы, и преподаватели держались за свой институт, который давал то ли бронь, то ли отсрочку от призыва. А неподалеку, по Кубани, уже грохотала война, и непонятно, на каком рубеже дадут ей укорот.

Как-то на лекции по металлургическому процессу играем себе в «морской бой», дожидаясь звонка за булочкой. А доцент Спиваков все это видит и говорит:

– Однажды доменную печь разорвало, и чугун расплавленной рекой хлынул...

Никакого интереса!

– ... хлынул из лотка по канаве в направлении детского сада...

Какого детского сада? Что за чугун? Но мы играем в «морской бой». И – ноль реакции.

Доцент Спиваков поставил последнюю ставку:

– Я беру лопату и, стоя по щиколотку в расплавленном металле...

Не реагируем. И он тихонько сложил бумаги в портфель и на цыпочках покинул аудиторию. В очереди за булочкой он стоял впереди меня, и у него было время рассказать мне эту историю.

Жили мы в общежитии – спали на железных койках в зрительном зале кинотеатра имени Плеханова. Матрасом, одеялом и простыней служили нам обыкновенные чертежные доски. Рахметовы. Но зато в другом зале шел «Маскарад», и мы смотрели эту прелесть десятки раз. И бессонницы у нас не было.

А назавтра в грузовом дворе снова катали тяжеленные колесные пары, напевая удивительный вальс Хачатуряна. И я театрально отчитывал кого-то словами Арбенина-Мордвинова: «Вы – шулер и подлец, и я вас здесь отмечу, чтоб каждый почитал обидой с вами встречу». И бил себя по носу заигранной колодой карт, которая постоянно болталась в кармане.

Мы и сами были актерами на киностудии. За массовку платили по три рубля, платили по-грузински размашисто: примерил костюм воина Моурави («Сила воинов – сила царства!») – держи трояк. Выехали на натуру, а солнышка нет – еще три рубля. А всего-то, конечно, выходило кот наплакал. Как-то один лишь раз пригласили на групповую съемку в картину «Неуловимый Ян». Надо было танцевать с дамой в кафе. Интим. Гонорар – 75 рэ. Представляете? Вот он шанс стать Ротшильдом. Да, но где взять европейский костюм? А белую манишку, если из ваших стоптанных башмаков выглядят протерты носки?!

А вот облачиться в форму фашистского солдата за трояк – это пожалуйста: в костюмерной студии такого добра навалом, любого, вплоть до генеральского. И представьте: подъезжаем на станцию Мцхет, а может быть, это были Коджоры – мы, штук тридцать одетых немцами массовщиков, на открытой платформе, а на соседнем пути – санитарный поезд Красного Кре-

ста с нашими по-настоящему ранеными. Они прогуливаются на костылях по перрону, на солнышке, никак не рассчитывая повстречать здесь, в глубоком тылу, самых натуральных фрицев. Ну, разумеется, помрежи и милиция оградили и нас, и их от ледового побоища.

Такие вот мелочи! Но это и есть жизнь, это и есть мой двадцатый век, и мало-помалу складывается та самая картинка из стеклышек в калейдоскопе, которую я обещал вам в самом начале.

А потом мы, немцы, окружали мост. Все было настоящее: комья земли, летевшие на нас от пиротехнических петард, река, мундиры, немецкая речь в озвучке. Вот только сам мост был макетом, стоял перед камерой маленький и тютелька в тютельку совпадал в перспективе с настоящим. Потому что мост предстояло взорвать, а кино может все сделать хитро и как на самом деле.

Все было похоже на правду. А вот холодные и грязные мы были, как настоящие немцы под Москвой. А в ушах звучал неотвязный вальс Хачатуряна из кинофильма «Маскарад», пока – не скоро – не стал с ним вровень знаменитый вальс из «Доктора Живаго».

Крещение войной

Война уже катилась на запад, пока я готовил солдатиков-артиллеристов на пустых щах из квашеной капусты в маршевые роты, на фронт. И писал рапорты с просьбой отправить меня в действующую армию. С одной стороны, въевшийся в поры с пионерских костров патриотический дым, а с остальных трех сторон медленное, голодное угасание диктовали текст этих рапортов. И благословили. Уважили.

33-я истребительная противотанковая бригада формировалась в городе Чугуеве. Ах, что за суп подавали в Чугуеве, что за гречку! Ах, что за бекеша была у комбрига! Перехожу на гоголевское «Ах!» Автоматически – места-то какие, в трех шагах от Ивана Никифоровича. Ну, совсем другое дело, и повоевать можно. А что убьют, так это потом, и не всех, Бог даст, и промахнутся. Пока же дайте еще черпак каши, да с маслицем, повара, – не шутить едем!

А как высадились на литовской станции Ионишкис, а там перрончик чистенько подметен, и никаких следов войны, ни запахов, и дежурный по станции в мундирчике и фуражечка красного сукна. Ни дать ни взять человек в футляре – не из жизни, а из Чехова. Даром что рядом, под Шяуляем, только отгремело большое танковое побоище.

Если я стану эпически описывать войну, чтобы подробно и талантливо, то мне не хватит именно терпения и таланта, а вам силы перечитать снова «Они сражались за Родину», тем более обо всем остальном я вспоминаю бегло, как Геродот, высвечивая памятью, как фонарем (если бы волшебным!), кусочки прожитого.

На отличном шоссе, в прекрасную погоду, был рассвет, и до указанной точки на карте оставалось верст десять, не знаю, каким образом мой водитель Володин, мальчишка с шоферских курсов, ухитрился перевернуть вверх колесами наш «студебеккер», тащивший прицепом пушку и в кузове ящиков тридцать со снарядами. Колеса продолжали вертеться, а мы – выбираться из-под снарядных ящиков. Правда, живыми и почти что невредимыми.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.